

Первая часть

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЙ

1. Отправление

Я ненавижу путешествия и путешественников. И все же я готов поведать вам о моих странствиях. Сколько же времени потребовалось, чтобы на это решиться! Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз уехал из Бразилии. Все это время я собирался приступить к написанию книги, и всякий раз что-то вроде стыда и отчужденности мешало мне. Да что там?! Разве заслуживает подробного описания множество мелких деталей и незначительных событий? Приключение — не часть профессии этнографа, это рабская зависимость: оно только отягощает продуктивную работу грузом недель или месяцев, потерянных в дороге; часами бездействия в долгом пути к объекту исследования; голодом, усталостью, порой болезнью; и всей массой повседневных обязанностей, которые съедают дни без остатка и превращают полную опасностей жизнь в самом сердце девственного леса в подобие военной службы... Ведь как много усилий и напрасного труда может быть потрачено ради объекта, не только не представляющего материальной ценности, но и не обещающего достойной награды за издержки нашей профессии. Истины, за которыми мы отправляемся так далеко, ценны сами по себе. Конечно, стоит

посвятить полгода странствий, лишений и ужасной усталости поиску (который займет несколько часов, а иногда — дней) неизвестной легенды, или свадебного обряда, или полного списка племенных имен. А вот пометка для памяти: «В 5:30 утра мы встали на рейд в Ресифи под крики чаек, и флотилия торговцев экзотическими фруктами тут же плотно окружила корпус судна». Имеет ли смысл браться за перо ради столь незначительного воспоминания?

Тем не менее такие рассказы достаточно популярны, что кажется мне необъяснимым. Амазония, Тибет и Африка заполняют книжные лавки заметками о путешествиях, отчетами об экспедициях и фотоальбомами, авторы которых заботятся прежде всего не о достоверности описываемых фактов, а лишь об эмоциональном воздействии на читателя. Мало того, что они волнуют воображение, — с каждым разом потребность в подобной пище растет, и читатель с жадностью поглощает ее в огромных количествах. Сегодня быть исследователем — это профессия, суть которой состоит не только в том, чтобы обнаружить в результате многих лет тяжелого труда скрытые факты, как может показаться на первый взгляд, но и в том, чтобы пройти тысячи километров в поисках интересных фото- и киносюжетов, лучше цветных. Ведь благодаря им зал на протяжении нескольких дней будет набит толпой внимающих, которые примут пошлые, обиденные вещи за удивительные открытия только потому, что автор не просто записал их, не сходя с места, а освятил расстоянием в двадцать тысяч километров.

Что слышим мы на этих публичных выступлениях и что читаем в этих книгах? Банальные анекдоты об ограблении касс, о мошенничестве старпома и примененные к ним, затасканные обрывочные сведения, уже с полвека переходящие из книги в книгу. Но про-

стодушие и невежество читателя вновь превращают нелепый факт в уникальное открытие. Бывают и исключения, честные путешественники существовали во все времена; из тех, кто сегодня пользуется благосклонностью публики, я охотно упомянул бы одного или двух. Моя цель — не разоблачать мистификации или присуждать награды, а скорее понять нравственный и социальный феномен, недавно возникший во Франции и теперь так ей свойственный.

Около двадцати лет французы почти не путешествовали, и исследователи выступали с рассказами о своих приключениях в отнюдь не переполненном зале Плейель. Единственным местом в Париже, отведенным для такого рода собраний, оставался маленький темный амфитеатр, холодный и полуразрушенный. Расположен он в старинном павильоне на краю Ботанического сада*. Общество друзей музея еженедельно устраивало там — возможно, эта традиция существует и по сей день — публичные лекции по естественнонаучной тематике. Слабые лампы кинопроектора отбрасывали расплывчатые тени на стену, служившую большим экраном, так что лектору приходилось утыкаться в нее носом, чтобы разглядеть изображение. А публика и вовсе не различала очертаний из-за следов подтеков на штукатурке. Лекцию задерживали на четверть часа в тревожном ожидании новых слушателей, в то время как редкие завсегдатаи занимали привычные места. Когда отчаяние доходило до предела, зал наполовину наполнялся детьми в сопровождении мам или нянек: одни — жадные до любого бесплатного зрелища, другие — утомленные уличным шумом и пылью. Стоя перед сборищем этих бледных призраков и нетерпеливой детворы — высшая награда за столькие усилия, труды и хлопоты, — доклад-

* Ботанический сад является частью Музея естествознания. — *Примеч. пер.*

чки использовали единственную возможность поведать о самых сокровенных воспоминаниях людям, которых подобные откровения впечатлить не могли. И в сумерках зала говорящий чувствовал, как воспоминания постепенно отдаляются от него и одно за другим падают камнем на дно колодца.

Таким было возвращение, едва ли более тоскливое, чем торжественный отъезд — ужин, устроенный франко-американским комитетом в одном из отелей на улице, которая сегодня носит имя Франклина Рузвельта. В это нежилое здание повар явился двумя часами раньше, во всеоружии принесенных с собой конфорок и посуды, но наспех проведенное проветривание не избавило помещение от затхлого запаха.

Неловко себя чувствуя в тоскливой атмосфере, которая там царила, мы сидели вокруг маленького столика в центре огромной гостиной, где едва успели подмести центральную часть. Молодые преподаватели, которым еще только предстояло работать в провинциальных лицеях, познакомились друг с другом. И только по прихоти Жоржа Дюма мы перенеслись из сырых меблированных комнат супрефектуры в гостиную, пропитанную ароматом грога, погреба и побегов виноградной лозы, напоминающих о тропических морях и комфортабельных судах; этот эксперимент был нацелен на создание представления о путешествии, хотя бы отдаленно отличающегося от нашего.

Я был учеником Жоржа Дюма в период его знаменитого «Психологического трактата». Раз в неделю, не помню точно, в четверг или в воскресенье, в утренние часы он собирал изучающих философию в зале больницы Святой Анны; одна из стен, напротив окна, была увешана забавными рисунками душевнобольных. Ощущение чего-то невероятного не покидало нас. Дюма водружал на кафедру свое сильное, нескладно скроен-

ное тело, несоразмерное с его шишковатой головой, которая напоминала белесый корень, поднятый со дна моря. Лицо воскового цвета сливалось с короткими седыми волосами, стриженными под ежик, и с белой бородкой, торчавшей во все стороны и отталкивающей во всех смыслах. Забавная, жалкая, совсем неинтересная, с взъерошенным хохолком фигура внезапно превращалась в человека благодаря взгляду угольно-черных глаз, оттенявших белизну лица и рубашки с отглаженным и накрахмаленным воротником, контрастирующей с неизменно черными шляпой с широкими полями, галстуком и костюмом.

Его уроки ничему особенному не научили, да он к ним никогда и не готовился, полагая, что обладает природным шармом. Чрезмерно экспрессивная речь искривляла его губы в гримасы, заставляла прихотливо играть его голос — сиплый, но певучий. Это был голос сирены, который странными модуляциями не только заставлял вспомнить его родной Лангедок, но, более того, отсылал в глухую провинцию, к стародавней мелодике разговорного французского. Так его лицо и голос вкупе создавали ощущение чего-то совершенного добродушного и в то же время язвительного: своеобразный образ гуманиста XVI столетия, врача и философа, бессмертный по духу, но во плоти.

Второй, а иногда и третий час лекции был посвящен осмотру больных: мы присутствовали при необычных представлениях с участием хитрого врача-практика и пациентов, за годы безумия привыкших к этим типичным упражнениям. Хорошо знающие, чего от них ждут, они по сигналу впадали в беспокойное состояние и чрезмерно сопротивлялись своему укротителю, чтобы тот мог как можно ярче продемонстрировать свои способности. И аудитория охотно очаровывалась его виртуозностью. Те, кто был удостоен внимания учителя,

вознаграждались и доверием одного из больных в личной беседе. Ни один контакт с индейскими дикарями не напугал меня так, как разговор с одной старой дамой, состоявшийся однажды утром. Она была с ног до головы укутана в свитера и считала себя тухлой селедкой среди кубиков льда. Внешне спокойная, в любой момент она могла выйти из себя, если бы ее защитная оболочка вдруг растаяла.

Дюма был в некоторой степени мистификатором, вдохновенно обобщающим материал. Обширный замысел его работ служил подтверждению довольно обманчивого критического позитивизма. Этот ученый был человеком большого благородства, но таким он предстал передо мной много позже, на следующий день после перемирия* и незадолго до своей смерти, когда он, почти уже слепой, вернувшись в свой родной Лединьян, написал мне приветливое и сдержанное письмо с единственной целью выразить солидарность первым жертвам тех событий.

Я всегда сожалел, что мне не довелось знать его юношей, смуглым брюнетом, похожим на конкистадора, когда взволнованный научными открытиями XIX века в области психологии, он отправился на духовное завоевание Нового Света. Как земля принимает разряд молнии, так бразильское общество приняло его. И в этом проявился, несомненно таинственный феномен, когда два осколка истории Европы четырехсотлетней давности (некоторые важнейшие принципы устройства которой хранились, с одной стороны, в протестантских семьях юга Франции, с другой — в среде бразильской буржуазии, эстетской и немного декадентской) сошлись, признали друг друга и воссоединились.

* Перемирие было заключено правительством Виши с гитлеровской Германией после поражения Франции в 1940 году. — *Примеч. ред.*

Ошибка Жоржа Дюма была в том, что он так никогда и не осознал подлинный исторический характер этих обстоятельств. Ему удалось соблазнить лишь одну Бразилию — Бразилию землевладельцев (их кратковременный приход к власти создал иллюзию, что это и есть подлинная Бразилия), которые постепенно инвестировали промышленные предприятия с иностранным участием и стремились обрести идеологическую опору в добропорядочном парламентаризме. Наши студенты, происходившие из семей иммигрантов новой волны и мелких помещиков, связанных с землей и разоренных рыночными спекуляциями, зло называли крупных землевладельцев «*grão fino*» — сливки общества. Примечательно, что открытие университета в Сан-Паулу, главное деяние Жоржа Дюма, способствовало продвижению именно представителей скромного среднего слоя, перед которыми после получения дипломов открывались перспективы административной службы. Так что наша миссия в университете состояла в том, чтобы содействовать формированию новой элиты, которая вскоре начала отдаляться от нас, по мере того как Дюма, а затем и министерство иностранных дел отказывались понимать, что эта элита — самое ценное из всего нами созданного, хотя она и стремилась подорвать феодальный слой, который ввел нас в Бразилию, с одной стороны, чтобы создать себе залог на будущее, а с другой — ради приятного времяпрепровождения.

Но тем вечером, во время банкета франко-американского комитета, ни я, ни мои коллеги, ни сопровождавшие нас жены не могли еще оценить ту роль, которую нам невольно предстояло сыграть в эволюции бразильского общества. Мы были слишком поглощены наблюдением друг за другом и опасениями своих возможных промахов, ведь Жорж Дюма нас предупредил, что теперь нужно быть готовым последовать обра-

зу жизни наших новых хозяев, то есть посещать автомобильный клуб, казино и ипподром. Это казалось невероятным для молодых преподавателей с жалованьем в двадцать шесть тысяч франков в год, даже после того как нам, немногочисленным участникам экспатриации, его утроили.

«Самое главное, — сказал нам Дюма, — вы должны быть хорошо одеты». Стремясь нас успокоить, он добавил с трогательным простодушием, что на этом можно хорошо сэкономить недалеко от рынка Ле-Аль в заведении «Круа Жаннетт», где он всегда делал покупки, пока учился в Париже на врача.

II. На борту

Как бы там ни было, мы не предполагали, что в течение следующих четырех или пяти лет наша немногочисленная группа за редким исключением будет путешествовать первым классом на грузопассажирских судах, принадлежавших компании морских перевозок, которая в то время обеспечивала сообщение с Южной Америкой. На выбор предлагались каюты второго класса на роскошном судне или первого класса, но на более скромных судах. Были те, кто в погоне за сомнительной выгодой — с пользой провести время в компании послов — выбирал первый вариант, оплачивая остаток суммы из собственного кармана. Мы же отдавали предпочтение второму и хоть и тратили на дорогу лишние шесть дней, но зато могли почувствовать себя полноправными хозяевами и посетить по пути множество гаваней.

Сегодня, по прошествии двух десятков лет, мне бы хотелось по достоинству оценить то неслыханное величие, то исключительное по-королевски привиле-

гированное положение, дарованное нам, путешествующим в составе восьми или десяти человек: палуба, каюты, курительный салон и столовая были в нашем полном распоряжении — и все это на корабле, рассчитанном на сто, а то и сто пятьдесят пассажиров. На корабле, который на протяжении девятнадцати дней, благодаря отсутствию посторонних, казался нам бескрайним пространством, целой страной, — и наши владения двигались вместе с нами. После двух или трех поездок, едва поднявшись на борт, мы тут же возвращались в привычный мир: мы поименно знали всех первоклассных марсельских стюардов, усатых, в обуви на толстой подошве, от которых исходил резкий чесночный запах, когда они подавали нам филе пулярки или тюрбо. Обеды, и без того пантагрюэлевские, становились еще обильнее из-за нашей малочисленности. Но даже при самом большом желании мы не смогли бы уничтожить все запасы корабельной кухни.

Конец одной цивилизации, начало другой, внезапное осознание того, что, возможно, наш мир становится слишком мал для людей, его населяющих... Не столько цифры, статистические данные и революции открыли мне эти очевидные истины, сколько ответ, полученный несколько недель назад по телефону, пока я тешил себя мыслью пятнадцать лет спустя вновь обрести молодость, вернувшись в Бразилию, — как бы ни складывались обстоятельства, мне следовало бы заказывать каюту за четыре месяца.

А я ведь наивно полагал, что с появлением авиарейсов между Европой и Южной Америкой только редкие чудачки предпочитают путешествовать по морю! Увы, как мы заблуждаемся, когда думаем, что вторжение одного предполагает исчезновение другого. Наличие комфортабельных авиалайнеров не способствует сохранению прежней безмятежности морских перевозок,

так же как и Лазурный берег не превращает окрестности Парижа в деревенскую глушь.

Однако именно между чудесными морскими путешествиями 1935 года и странствиями 1941-го, о которых я старался позабыть, произошло и другое событие, в будущей значимости которого я никоим образом не сомневался. На следующий день после перемирия, благодаря дружескому вниманию к моим этнографическим работам и неустанной, почти родственной заботе Роберта Х. Лоуи и Андре Метро, живущих в США, я получил приглашение от нью-йоркской Новой школы социальных исследований в рамках совместной с Фондом Рокфеллера программы спасения европейских ученых, находящихся в немецкой оккупации. Нужно было ехать, но как? Первой мыслью было вернуться в Бразилию и продолжить свои довоенные исследования. В маленьком помещении на первом этаже в Виши, где находилось посольство Бразилии, когда я добивался возобновления визы, произошла короткая, но трагичная для меня сцена. Бразильский посол Луиш ди Суза-Данташ, которого я хорошо знал, поднял печать и уже было приготовился поставить ее в паспорт (он сделал бы это, даже если бы мы не были знакомы), как вдруг один из советников почтительно-холодным тоном напомнил послу, что подобные полномочия были с него только что сняты правительством. На несколько секунд его рука зависла в воздухе. Глядя на советника тревожным, почти умоляющим взглядом, посол пытался заставить его отвернуться, чтобы печать все-таки коснулась бумаги, тем самым позволив мне уехать из Франции и отправиться в Бразилию, а может, и не только туда. Но все было тщетно, взгляд советника застыл на руке посла, и она машинально рухнула рядом с документом. Я не получил визы, и удрученный посол вернул мне паспорт.

Я возвратился в свой дом в Севеннах, недалеко от которого, в Монпелье, по велению судьбы, ввиду прекращения военных действий я был демобилизован, и отправился в Марсель. Из разговора в порту выяснилось, что один из кораблей вскоре направится к берегам Мартиники. Бродя от причала к причалу, от дока к доку, я наконец понял, что вышеупомянутое судно принадлежит той самой Морской транспортной компании, которая еще со времен нашей университетской французской миссии в Бразилии, а то и раньше, предоставляла услуги только особенным, самым верным клиентам. В тот день в феврале 1941-го дул северный ветер, я все же отыскивал в холодной и запертой на все замки конторке одного чиновника, который когда-то представлял нам эту компанию. Да, корабль существовал, да, он должен был вот-вот отправиться, но попасть на него было совершенно невозможно. Почему? Я не понимал, а он не мог мне этого объяснить. Все уже не так, как раньше. Но как же быть? Ах, все будет так долго и так утомительно. Он даже представить себе не мог меня на корабле.

Бедняга все еще видел во мне представителя французской культуры; а я уже чувствовал себя жертвой концентрационного лагеря. К тому же, я провел два года сначала в гуще девственного леса, потом в стремительном отступлении от одного населенного пункта к другому, уходя от линии Мажино в Безье переправлями через Сарт, Коррез и Аверон, ехал в вагонах для перевозки скота. Так что щепетильность моего собеседника казалась мне неуместной. Я уже видел себя прежним странником, разделяющим и труды, и скудную пищу с горсткой матросов, брошенных на произвол судьбы на затерянном в океане судне, и, казалось, слышал шепот волн за бортом.

В конце концов я получил билет на судно «Капитан Поль-Лемерль», но только в день отплытия начал понимать, пробираясь сквозь ряды жандармов в касках и с автоматами в руках, которые стояли по обе стороны причала и ударами и бранью обрывали прощания пассажиров с провожавшими их родственниками или друзьями: приключением это было только для меня, а больше походило на отправку каторжников. Но даже грубость жандармов не поразила меня так, как численность уезжавших. Около трехсот пятидесяти человек набилось на борт маленького суденышка, где — и я собирался это тотчас же проверить — имелось всего две каюты с семьей койками. Одна из них была отдана трем дамам. Другая — разделена между четырьмя мужчинами, среди которых был я — непомерная милость со стороны месье Б. (хотя бы здесь я смогу его отблагодарить), который не мог допустить, чтобы один из его прежних пассажиров первого класса ехал как скот. Все остальные, мужчины, женщины и дети, теснились в темных душных трюмах. Спать им предстояло на соломенных тюфяках многоярусных коек, сколоченных на скорую руку корабельными плотниками.

Итак, в привилегированном положении оказались четверо мужчин: австрийский торговец металлами, прекрасно понимавший, во что ему обошлось это превосходство; молодой «беке» — богатый креол, отрезанный войной от родной Мартиники и заслуживавший особого обращения, ведь он, единственный на судне, не был евреем, иностранцем или анархистом; и наконец, последний, чужак, житель Северной Африки, который собирался в Нью-Йорк всего на несколько дней (странный замысел, учитывая, что только на дорогу туда уйдет не меньше трех месяцев), носил в чемодане Дега, и хотя был, как и я, евреем, казался персоной грата вблизи всей этой полиции, охраны, жандармерии

и служб безопасности колоний и протекторатов — в такой ситуации это казалось какой-то непостижимой тайной, раскрыть которую мне так и не удалось.

Среди пассажиров, или попросту «сброда», как говорили жандармы, были Андре Бретон и Виктор Серж. Андре Бретон, ощущавший себя узником на этой галере, бродил взад и вперед на редких свободных участках палубы. В своей мягкой бархатной куртке он напоминал синего медведя. Между нами возникла прочная дружба, которая продолжалась и на протяжении всего бесконечного путешествия: мы обменивались записками и обсуждали связь эстетической красоты и абсолютной самобытности.

Что касается Виктора Сержа, его прошлое сотрудничество с Лениным смущало меня, и я никак не мог сопоставить этот факт с его личностью. Он скорее напоминал старую деву с принципами: гладкое, лишенное растительности лицо, тонкие черты, чистый голос в сочетании с чопорными, сдержанными манерами. Он казался почти бесполом — похожие черты я позже наблюдал у буддийских монахов на бирманской границе. Такой характер, лишенный мужского темперамента и стремления к излишествам, французская традиция обычно ассоциирует с так называемой подрывной деятельностью. В любом обществе, раздираемом довольно простыми противоречиями, возникают сходные культурные типы, которые используются каждой из враждующих групп для выполнения разных социальных функций. Тип Сержа стал революционером в России. Ну а кем бы он стал в другом месте? Ведь отношения между двумя обществами складывались бы лучше, если было бы возможно создать упорядоченную систему мер для оценки действий аналогичных человеческих типов при исполнении различных социальных обязанностей. Вместо того чтобы сравнивать врачей с врача-

ми, промышленников с промышленниками, преподавателей с преподавателями, как это любят делать сегодня, лучше бы обратили внимание на сходства более неуловимые: между отдельными людьми, исполняющими различные роли.

Помимо людей корабль перевозил какой-то тайный груз: в Средиземном море и на западном побережье Африки мы постоянно слонялись из порта в порт, по-видимому, ускользя от проверок английского флота. Владельцам французских паспортов иногда разрешалось сойти на берег, остальные же томились в тесноте, где на каждого приходилось несколько десятков квадратных сантиметров. Из-за жары — нараставшей по мере приближения к тропикам и делавшей нестерпимым пребывание в трюмах — палуба превращалась в столовую, спальню, ясли, прачечную и солярий одновременно. Но самым неприятным было то, что в армии называют «соблюдением санитарных норм». Экипаж соорудил две пары построек из досок без света и воздуха. Располагались они симметрично вдоль леера: слева по борту для мужчин и справа по борту для женщин. В одной из этих построек можно было принять душ, и то только по утрам, когда они снабжались водой. Другая была оснащена длинным деревянным желобом, обитым оцинкованной жстью, он выходил в океан и служил для известных целей. У тех, кто не выносил слишком тесного соседства и испытывал отвращение к коллективному приседанию, такому неустойчивому из-за бортовой качки, был только один выход — просыпаться очень рано. И на протяжении всего путешествия проходили соревнования между самыми «деликатными», так что в итоге на относительное одиночество можно было надеяться только около трех часов утра. Кончалось тем, что спать вообще не ложились. В течение двух часов то же происходило

с душевыми, где главной была забота уже не о стыдливости, а о возможности занять место в толпе. Вода, которой и без того было крайне мало, словно испарялась в контакте с такой массой влажных тел и еле доходила до кожи. И в том, и другом случае все спешили поскорее закончить и уйти. Эти непроветриваемые постройки были сколочены из свежих еловых досок. Доски же, пропитавшись грязной водой, мочой и морским воздухом, закисло под солнцем и источали приторный тошнотворный запах, который, сливаясь с другими испарениями, становился невыносимым, особенно во время качки.

Когда через месяц в ночи показался маяк Фор-де-Франса, сердца пассажиров наполнились надеждой, но надеждой даже не на мало-мальски приличный обед, кровать с простынями или тихий безмятежный сон. Все эти люди, которые до поездки пользовались, как сказал бы англичанин, «прелестями» цивилизации, больше чем от голода, истощения, бессонницы, тесноты и даже презрения, устали от грязи и жары. На борту было немало молодых, хороших женщин. Разумеется, у них появились поклонники и завязались отношения. Для этих женщин было делом чести показать себя перед расставанием в благоприятном свете, и в глубине души они надеялись, что достойны оказанного внимания. И не было, следовательно, ничего смешного и ничего торжественного в этом крике, который вырывался из каждой груди, заменяя «Земля! Земля!» (традиционное в рассказах о морских путешествиях) на: «Ванна! Наконец ванна! Завтра ванна!». Именно это слышалось со всех сторон, пока происходила лихорадочная инвентаризация последнего куса мыла, чистого полотенца, блузки, припасенной ради этого великого случая.

К сожалению, эта «гидротерапевтическая» мечта заключала в себе слишком оптимистический взгляд на

плоды цивилизаторского труда, которых можно ожидать от четырех веков колонизации (так как ванные комнаты редки в Фор-де-Франс). Едва мы встали на рейд, пассажиры поняли, что их грязный и переполненный корабль был идиллическим жилищем по сравнению с приемом, который им уготовила местная солдатня, страдающая коллективной формой умственного расстройства. Этот недуг, несомненно, заслужил бы внимания этнолога, если бы тот не был занят использованием интеллектуальных ресурсов с одной-единственной целью — избежать неприятностей.

Большинство французов пережили «странную войну», но войну офицеров в гарнизоне на Мартинике трудно классифицировать по ее роли. Их единственная миссия (которая состояла только в том, чтобы охранять золото Банка Франции) была провалена кошмарным образом, и не злоупотребление пуншем являлось тому виной. Скрытые, но не менее существенные причины обуславливались самой островной ситуацией: удаленность от метрополии и историческая традиция, богатая воспоминаниями о пиратах, позволили североамериканскому контролю и секретным миссиям подводного немецкого флота занять место главных действующих лиц — одноглазых с золотыми серьгами и деревянной ногой. Так, например, несмотря на отсутствие военных действий и какой-либо видимой угрозы, большинство военных патологически боялось осады. Что касается островитян, их болтовня ограничивалась двумя темами: одни говорили «Трески не стало и остров проклят», другие утверждали, что Гитлер — это Иисус Христос, спустившийся на землю, чтобы наказать белую расу за то, что та в течение двух предыдущих тысячелетий плохо следовала его заветам.

После перемирия младшие офицеры предпочли не «свободную Францию», а режим метрополии. Они

продолжали оставаться «в стороне от дела»; их физические и моральные силы были истощены, они утратили боевой дух, если только он вообще у них когда-нибудь был. Их воспаленный иллюзией безопасности рассудок заменял врага реального, но такого отдаленного, что он стал невидимым и как будто абстрактным — немцев — врагом выдуманном, но который казался близким и осязуемым — американцами. Впрочем, два военных корабля США постоянно курсировали на рейде. Ловкий помощник командующего французскими силами каждый день завтракал у них на борту, тем временем как его начальник старался разгечь в рядах своих подчиненных ненависть и злобу по отношению к англосаксам.

Что же до врагов, на которых можно было выплеснуть накопленную в течение долгих месяцев агрессию, виновных в поражении, к которому здешние вояки, будучи в стороне от сражений, чувствовали себя не причастными, но в котором смутно ощущали свою вину (не являлись ли они самым наглядным примером совершенной беспечности, иллюзий и безразличия, жертвой которых, в определенной мере, страна и пала?), то наш корабль предоставлял им полный, тщательно отобранный «комплект». Создавалось впечатление, что, разрешая нашу отправку, власти Виши просто направили этим господам толпу козлов отпущения, на ком те смогли бы выплеснуть свою желчь. Вооруженная группа в коротких штанах и в касках в кабинете командира занималась не столько допросом каждого из прибывших, сколько оскорблениями, которые мы молча сносили. Те, кто не были французами, были врагами, французы же врагами не являлись, но обвинялись в том, что подло покинули свою страну. Упрек не только противоречивый, но и достаточно странный из уст людей, которые, начиная с объявле-

ния войны, фактически жили под прикрытием доктрины Монро...

Прощайте, ванные! Решено всех поселить в лагерь, названный Лазаретом, расположенный с другой стороны бухты. Только трем людям было разрешено попасть на остров: «беке», который не принимался в расчет, загадочному тунисцу после предъявления документа и мне, благодаря особой милости командующего морским управлением, моего старого знакомого. Он плавал старшим помощником капитана одного из кораблей, на которых я путешествовал перед войной.

III. Антильские острова

В течение двух часов после полудня Фор-де-Франс словно вымирал. Необитаемыми казались лачуги, которые окружали длинную площадь, кое-где засаженную пальмами и заросшую сорняками. Она напоминала пустырь, посреди которого забыта зеленая статуя Жозефины Таше де ла Пажери, позже Богарне. Едва устроившись в пустынной гостинице, тунисец и я, еще под впечатлением от утренних событий, вскочили в прокатный автомобиль и отправились в направлении Лазарета — успокоить двух молодых немок-путчиц, которые на протяжении всей поездки намекали, что с легкостью обманут своих мужей, как только появится возможность вымыться. С этой точки зрения положение дел в Лазарете только усугубило наше разочарование.

Пока старенький «форд» поднимался по извилистым тропинкам, я с восхищением обнаруживал множество видов растений, знакомых мне с Амазонии, но под новыми именами: каимито вместо *fruta do conde* (по виду артишок, а по вкусу как груша), корросол

вместо graviola, папайя вместо mamão, сапотилья вместо mangabeira.

Я вспоминал только что пережитые тяжелые сцены и невольно соотносил их с прежним опытом. Для моих товарищей, брошенных в приключение после вполне спокойной жизни, эта смесь злости и глупости была явлением невероятным и исключительным, словно история не знала примеров того, как международная катастрофа может изменить человека до неузнаваемости. Но я, который повидал мир и побывал во многих передрягах, был готов к подобным проявлениям человеческой низости. Я знал, что медленно и постепенно она начинает изливаться грязным потоком из человечества, измученного своей многочисленностью и ежедневно нарастающей сложностью проблем, истерзанного физическими и моральными столкновениями и раздраженного интенсивностью общения. На этой французской земле война и поражение только ускорили ход всемирного процесса, способствовали появлению заразы, которая никогда полностью не исчезнет с лица земли, ведь угасая в одном месте, она тут же возрождается в другом. Эти нелепые, злобные и откровенные демонстрации, которые социальные группировки выделяют как гной, я видел сегодня не в первый раз.

Еще совсем недавно, за несколько месяцев до объявления войны, перед возвращением во Францию я прогуливался от церкви к церкви в Байе. По слухам их насчитывается триста шестьдесят пять — для каждого дня года, и они так же разнообразны по стилю и внутреннему убранству, как дни и времена года. Я снимал архитектурные детали. За мной по пятам следовала ватага полуобнаженных негритят с настойчивой просьбой: «Tira o retrato! Tira o retrato!» — «Сделай нам фото!» В конце концов, растроганный этим милым попрошайничеством о снимке, которого они никогда не увидят,

я согласился сделать негатив, чтобы утешить их. Но я не прошел и ста метров, как на мое плечо опустилась рука. Два инспектора в штатском, которые следовали за мной шаг за шагом с самого начала моей прогулки, сообщают, что я только что совершил враждебный Бразилии акт: этот снимок, использованный в Европе, может способствовать развитию легенды о том, что в Бразилии есть чернокожие и что мальчишки Байе ходят босиком. Я сдался в руки правосудия, но, к счастью, ненадолго, так как корабль готовился к отплытию.

Этот корабль определенно приносил мне одни несчастья. Немногими днями ранее я попал в подобное приключение: на этот раз при посадке, на пристани в порту Сантуса. Едва я поднялся на борт, как командующий бразильским морским флотом в полной парадной форме в сопровождении двух солдат морской пехоты, с примкнутыми штыками, заключил меня под арест в моей каюте. Понадобилось около четырех или пяти часов, чтобы, наконец, все выяснилось: от франко-бразильской экспедиции, которой я руководил на протяжении года, потребовали разделения коллекций между двумя странами. Все это должно было происходить под контролем Национального музея Рио-де-Жанейро, который тут же известил все порты страны: в случае если я, движимый темными намерениями, попробую сбежать из страны с количеством луков, стрел и перьевых головных уборов, превышающим часть, принадлежащую Франции, меня следует арестовать во что бы то ни стало. Только после моего возвращения из экспедиции музей Рио-де-Жанейро изменил решение и уступил бразильскую часть научному институту Сан-Паулу. Мне сообщили, что, следовательно, вывоз французской части должен взять на себя Сантус, а не Рио. Но так как было упущено из виду, что вопрос решался разными законодательными орга-

нами, я был объявлен преступником на основании прежнего указания, о котором забыли его авторы, но помнили исполнители.

К счастью, в эту пору в сердце каждого бразильского чиновника дремал анархист, выживший благодаря отрывкам из Вольтера и Анатоля Франса, которые даже в глубокой провинции витали в воздухе и были частью национальной культуры («Ах, месье, вы француз! Ах, Франция! Анатоль, Анатоль!» — восклицал, сжимая меня в объятьях, взволнованный местный старик, который еще никогда не встречал ни одного из моих соотечественников). Наученный опытом, я не пожалел времени и красноречия для доказательства моих почтительных чувств по отношению к бразильскому государству вообще и к морскому управлению в частности. Я старался затронуть чувствительные струны, и небезуспешно: после нескольких часов, проведенных в холодном поту (этнографические коллекции были перемешаны в сундуках с моим движимым имуществом и библиотекой, ведь я покидал Бразилию навсегда и боялся, что их растерзают на пристанях, как только корабль поднимет якорь), я сам диктовал моему собеседнику резкие слова, чтобы тот, разрешая мой отъезд и отправку моего багажа, приписал себе славу спасителя своей страны от международного конфликта и последующего унижения.

Может быть, я не действовал бы столь нахально, если бы не воспоминание, лишившее в моих глазах южно-американских полицейских всей их важности. Два месяца назад, во время пересадки на самолет в одной из деревень Нижней Боливии, я вынужден был задержаться на несколько дней с моим спутником, доктором Ж. Велларом, в ожидании согласования расписания. В 1938 году авиация мало напоминала сегодняшнюю. Пропустив в районах, удаленных от Южной

Америки, некоторые этапы технического совершенствования, она освоилась с ролью колымаги для деревенских жителей, которые до того времени, в отсутствии дороги, теряли по многу дней в пути на соседний базар, пешком или на лошади. Теперь перелет занимал всего несколько минут (но, по правде сказать, с опозданием на большое количество дней). Маленькие самолеты были забиты ящиками, слишком тяжелыми и громоздкими, чтобы провезти их по лесным тропам, курами, утками и босыми крестьянами, которые помещались рядом, лишь сидя на корточках.

Итак, мы бесцельно слонялись по улицам Санта-Крус-де-ла-Серры, размытым сезоном дождей в грязные потоки, которые надо было переходить вброд по большим камням, равномерно уложенным как пешеходные дорожки, и совершенно непреодолимым для транспорта. Патруль заметил наши незнакомые лица — достаточная причина, чтобы нас задержать и, ожидая часа объяснений, запереть в одной из комнат старинного особняка губернатора провинции. Помещение хранило следы былой роскоши: стены были обшиты деревом и заставлены застекленными книжными шкафами, огромные тома в богатых переплетах пылились на полках. Между шкафами, также под стеклом, в раме, нам бросилась в глаза удивительная надпись, написанная с ошибками, которую я здесь перевожу с испанского: «Под страхом суровых наказаний строго воспрещается вырывать страницы архива, чтобы использовать их в личных и гигиенических целях. Любой, нарушивший запрет, будет наказан».

Должен признаться, что мое положение на Мартинике улучшилось благодаря вмешательству высокопоставленного чиновника дорожного ведомства, который скрывал за несколько холодной сдержанностью симпатию, не принятую в официальных кругах. Может быть,

причиной тому послужили мои частые посещения редакции религиозной газеты, в служебных помещениях которой священники, не знаю какого ордена, складывали ящики с археологическими свидетельствами индейской культуры, и я в свободное время занимался составлением описи.

Однажды я оказался в зале суда присяжных, где проходило заседание. Это было мое первое и единственное присутствие на суде. Разбиралось дело крестьянина, который во время ссоры откусил кусок уха своему противнику. Подсудимый, истец и свидетели изъяснялись на выразительном креольском языке, и его звонкая свежесть казалась чужеродной в подобном месте. Их речь переводили трем судьям, которые с трудом выносили жару под грузом алых тог и мехов, свалывшихся от влажности. Эта ветошь опутывала их тела как окровавленные повязки. Ровно за пять минут несдержанный чернокожий был приговорен к восьми годам тюрьмы. Правосудие в моем представлении всегда связано с сомнением, скрупулезностью, уважением. То, что можно с такой непринужденностью распорядиться за столь короткое время судьбой человека, поразило меня. Я не мог осознать, что только что был свидетелем реальных событий. До сих пор ни один сон, каким бы невероятным или причудливым он ни был, не вызывает во мне такого ощущения нереальности происходящего.

Что касается моих попутчиков, они обязаны своим освобождением конфликту между морскими властями и коммерсантами. Если первые в них видели шпионов и предателей, другие — источник доходов, который заключение в Лазарет, даже платное, не позволяло использовать. Эти соображения взяли верх над другими, и в течение двух недель всем была предоставлена возможность потратить последние французские деньги

под пристальным наблюдением полиции, которая плела вокруг каждого и особенно вокруг женщин сеть искушений, провокаций, соблазнов и угроз. В то же время мы добивались виз у доминиканского консульства и жадно ловили слухи о предположительном прибытии судов, которые всех нас заберут отсюда. Ситуация изменилась, когда деревенские торговцы, враждовавшие с военно-морским округом, заявили о своем праве на часть беженцев. И в один прекрасный день всех нас насильно переселили на постоянное жительство в деревни. Я еще сопротивлялся, но все же последовал за своими прекрасными подругами в их новый дом у подножия горы Пеле. Как ни странно, но именно этой последней полицейской махинации я обязан незабываемыми прогулками по острову, экзотическая красота которого более соответствовала классическому представлению, нежели пейзажи южноамериканского континента: темный дендритовый агат, заточенный в ореол пляжей с черным в серебряных блестках песком; долины, укутанные молочной дымкой, едва позволяют угадывать — по звуку стекающих капель, скорее, слухом, чем зрением — гигантскую, перистую, нежную пену древовидных папоротников над словно ожившей окаменелостью их стволов.

Помимо того, что меня крайне беспокоила судьба моих спутников, была еще одна проблема, о которой я должен здесь упомянуть, поскольку написание этой книги зависело от решения, которое, увидим вскоре, далось нелегко. Единственным моим имуществом был дорожный чемодан, набитый экспедиционными документами: лингвистические и технологические картотеки, путевой журнал, заметки, карты, планы и фотографические негативы — тысячи листков, карточек и снимков. Весь этот подозрительный груз пересек линию границы ценой огромного риска для перевозчика,

который взял все на себя. После приема, оказанного в Мартинике, я сделал вывод, что не могу позволить таможене, полиции и второму отделу адмиралтейства даже взглянуть на то, что могло им показаться шифрованными таблицами (это касается местных словарей), описаниями стратегических операций или планами захвата в виде карт, схем и фотографий. Руководствуясь этими соображениями, я решил объявить свой чемодан транзитным, и его отправили запломбированным в хранилища таможи. Как мне сообщили впоследствии, мне нужно будет покинуть Мартинику на иностранном судне, куда будет погружен чемодан (требовалось приложить немало усилий, чтобы осуществить этот план). Если я отправлюсь в Нью-Йорк на борту «Д'Омаля» (настоящий корабль-призрак, которого так ждали мои спутники в течение месяца, пока он однажды не материализовался в виде большой свежевыкрашенной игрушки из другого века), чемодан сначала попадет на Мартинику, а потом еще предстоит покинуть ее. Об этом не могло быть и речи. И я отправился в Пуэрто-Рико на белоснежном шведском банановозе, где в течение четырех дней наслаждался, как отзвуком минувших времен, безмятежной и почти уединенной поездкой. На борту было всего восемь пассажиров, и я не пожалел, что сел именно на это судно.

После французской полиции — полиция американская. Выходя в Пуэрто-Рико, я сделал для себя два открытия: в течение пары месяцев с момента отъезда из Мартиники законодательство об иммиграции в США изменилось, и документы из Новой школы социальных исследований не соответствовали больше новым постановлениям. К тому же, и это главное, опасения, которые я испытывал относительно проблем с моими этнографическими документами, которых мне удалось избежать в Мартинике, американская по-

лиция подтвердила в высшей степени. Ведь после того как меня приняли за жидо-масонского наемника американцев в порту Фор-де-Франс, я вынужден был с горечью констатировать факт, что, с точки зрения США, я мог оказаться эмиссаром Виши, если не немцев. Ожидая, пока Новая школа (в которую я незамедлительно телеграфировал) удовлетворит требования закона и специалист ФБР, умеющий читать по-французски, прибудет в Пуэрто-Рико (мои карточки содержат на три четверти нефранцузских слов из малоизвестных диалектов центральной Бразилии, и я содрогался от мысли о времени, которое понадобится, чтобы найти эксперта), иммиграционные службы решили меня поселить, притом за счет навигационной компании, в отель в строгом испанском стиле, где я ел вареную говядину и турецкий горох, в то время как два полицейских, грязных и плохо выбритых, по очереди круглосуточно дежурили у моей двери.

Я помню, как в патио этого отеля Бертран Голдшмидт, прибывший на том же корабле и возглавивший впоследствии Комиссию по атомной энергии, объяснил мне однажды вечером принцип атомной бомбы и поведал (это было в мае 1941-го), что крупнейшие страны вступили в научную гонку, которая гарантирует победу тому, кто придет первым.

По окончании нескольких дней мои последние товарищи по путешествию уладили свои проблемы и уехали в Нью-Йорк. Я остался один в Сан-Хуане в компании двух полицейских, которые сопровождали меня по мере надобности в три дозволенных пункта: консульство Франции, банк, иммиграционную службу. Для посещения любого другого места необходимо было специальное разрешение. Однажды я получил его, чтобы пойти в университет, куда мой охранник из деликатности не зашел; чтобы не унижать меня, он

ожидал у дверей. Так как он сам и его компаньон часто скучали, то порой нарушали постановление и позволяли мне по собственной инициативе отвести их в кино. Только через двое суток, прошедших с момента освобождения до посадки на корабль, я смог посетить остров под любезным руководством М. Кристиана Белля, в то время генерального консула, в котором я нашел, не без удивления, в таких необычных обстоятельствах коллегу-американиста. Он много рассказывал о каботажном плавании на паруснике вдоль южноамериканских берегов. Немногом раньше из утренней прессы я узнал о визите Жака Сустеля на Антильские острова с целью присоединить французских резидентов к де Голлю: мне понадобилось еще одно разрешение, чтобы встретиться с ним.

В Пуэрто-Рико я почувствовал близость США. Впервые я ощутил приятный аромат лака и винтергринна (канадского чая), обонятельных полюсов, между которыми вся гамма американского комфорта — от автомобиля до туалета, включая радиоприемник, кондитерские и зубную пасту. Я пытался разгадать под маской косметики мысли продавщиц драгстора в сиреневых платьях и с пышными волосами цвета красного дерева. Именно там, в особенной атмосфере Больших Антильских островов, я впервые встретил эти типичные признаки американского города: легкость конструкций и внешние эффекты, рассчитанные на то, чтобы заманить случайного прохожего на универсальную экспозицию, уже ставшую постоянной, и это при том, что здесь все мнили себя частью Испании.

Незапланированные путешествия часто преподносят такие сюрпризы. Мои первые недели на земле США, проведенные именно в Пуэрто-Рико, заставляют меня отныне снова и снова находить Америку в Испании. Вот так же, много лет спустя, посещение моего

первого английского университета, расположенного в неоготических строениях Дакки, в Восточной Бенгалии, заставило меня увидеть Оксфорд, которому удалось обуздать грязь и заросли Индии.

Инспектор ФБР прибыл через три недели после моей высадки в Сан-Хуан. Я бегу на таможенную, открываю чемодан... Торжественный момент! Любезный молодой человек приближается, вытягивает первую попавшуюся карточку, его взгляд становится все более суровым, он свирепо поворачивается ко мне: «Это по-немецки!» Действительно, это классический труд фон ден Штейнена, моего блистательного и далекого предшественника в Центральном Мату-Гросу, «Среди первобытных народов Центральной Бразилии», изданный в Берлине в 1894 году. Вполне удовлетворившись таким объяснением, мой долгожданный эксперт потерял всякий интерес к делу. Хорошо, о'кей, я принят на американскую землю, я свободен.

Пора сделать паузу. Каждое из этих небольших приключений влечет за собой воспоминания о других. Некоторые, как, например, последнее, связаны с войной, другие, описанные выше, относятся к более раннему времени. Я мог бы добавить и более поздние, относящиеся к азиатским путешествиям последних лет. Что касается моего славного инспектора ФБР, он не был бы сегодня так легко удовлетворен. Атмосфера повсюду гущается.

IV. Поиск власти

Едва уловимые запахи, дуновения, как предвестники сильных волнений — какое-то ничтожное происшествие дает мне это понять и остается в моей памяти

предзнаменованием. Отказавшись от продления контракта с университетом Сан-Паулу, чтобы посвятить себя долгой работе во внутренних районах страны, я опередил моих коллег на несколько недель и сел на корабль, идущий обратно в Бразилию. Впервые за четыре года я был единственным преподавателем университета на борту. И впервые было так много пассажиров: не считая иностранных представителей деловых кругов, корабль был забит членами военной делегации, направляющейся в Парагвай. Привычное путешествие стало неузнаваемым, так же как и атмосфера судна, некогда такая безмятежная. Офицеры и их жены путали трансатлантическое путешествие с колониальной экспедицией и службой, словно готовились со своей малочисленной армией, по крайней мере морально, к оккупации завоеванной страны. Палуба была превращена в учебный плац. Роль туземцев досталась гражданским пассажирам, которые не знали, куда деться от такой наглости и шума. Даже команда не скрывала недовольства. Совершенно иначе вели себя руководитель миссии и его жена — люди скромные и с деликатными манерами. Однажды они заговорили со мной в укромном месте, где я пытался избежать шума, осведомились о моих прошлых работах, о цели моих исследований и намеками дали мне понять, что бессильны изменить обстановку и фактически являются лишь сторонними наблюдателями. Контраст был настолько очевиден, что наводил на мысль о некоей тайне. Три или четыре года спустя я вспомнил этот случай, встретив в прессе имя этого офицера, чье личное положение было и в самом деле парадоксальным.

Не тогда ли я впервые понял, что меня многому научили обескураживающие обстоятельства, в которые я попадал во время своих поездок? Путешествия, волшебные ларцы с несбыточными мечтами, вы больше

не отдадите своих нетронутых сокровищ. Бурное нашествие цивилизации навеки разрушает тишину морей. Благоухание тропиков и человеческая неискушенность испорчены вторжением затхлости, которая умаляет наши желания и искажает нашу память.

Сегодня, когда полинезийские острова залиты бетоном и превращены в непотопляемые авианосцы посреди Южных морей, когда Азия приняла облик грязного захолустья, когда трущобы разъедают Африку, когда коммерческая и военная авиация отравляют девственный американский или меланезийский лес, прежде чем окончательно его уничтожить, сможем ли мы в путешествии обнаружить исторические корни нашего нынешнего существования? Великая цивилизация Востока подарила нам множество чудес, ничтожными копиями которых мы пользуемся. Слово самое знаменитое ее творение — это громада архитектурных сооружений непостижимой сложности. Порядок и гармония Запада требуют устранения бесчисленных жалких подражаний, которыми сегодня заражена земля. То, что вы, путешествуя, в первую очередь нам показываете, — это наш мусор, брошенный в лицо человечеству.

Я понимаю воодушевление и безумные заблуждения рассказов о странствиях. Они приносят иллюзии о том, чего больше не существует и что должно было бы существовать, чтобы не дать нам осознать, что на карту поставлены двадцать тысяч лет истории. Ничего не поделаешь, цивилизация больше не тот хрупкий цветок, который лелеяли, заботливо взращивая на облагороженных почвах, оберегая от близкого соседства с другими культурами, более грубыми и живучими, но которые могли разнообразить посева. Человечество осваивается в монокультуре; оно готово плодить цивилизацию как свеклу. Его повседневная пища будет состоять только из одного этого блюда.

В былые времена рисковали жизнью в Индиях или Америках, ради добычи благ, которые сегодня стали для нас привычными: древесина брээ, подарившая название Бразилии, красная краска или перец, завоевавший такую популярность при дворе Генриха IV, где каждый имел при себе бонбоньерку с этим «лакомством». Эти визуальные или обонятельные потрясения — жаркая радость для глаз, пикантное жжение для языка — добавляли ярких красок в тусклую палитру чувств цивилизации. Стоит ли говорить, что современные Марко Поло поставляют из тех же земель, на этот раз в виде фотографий, книг и рассказов, духовные «пряности», в которых нуждается общество, погибающее от скуки?

Однако современные «духовные специи», хотим мы это замечать или нет, — всего лишь подделки. Честный рассказчик не в силах больше соблюсти достоверность повествования. Он вынужден, порой неосознанно, искажать реальные события, тщательно отбирать воспоминания, чтобы заставить нас слушать себя. В этих рассказах можно встретить карикатуры на якобы дикие племена, сохранившие до настоящего времени свои нравы и обычаи, уместившиеся в несколько небольших глав. Еще во времена студенчества целые недели уходили у меня на изучение трудов, посвященных исследованию действительно диких племен, которые десятилетия спустя после первого контакта с белыми людьми гонения и эпидемии превратили в горстку несчастных, потерявших корни. Одну из таких жалких групп сумел открыть и досконально изучить за двое суток юный путешественник. Тщательно замаскированы детали, которые указали бы на существование поста миссионеров, в течение двадцати лет постоянно общающихся с коренными жителями, или маленькой судоходной линии для поездок в глубь страны, но опытный взгляд ловит

мелкие несоответствия, например, когда в кадр попадают ржавые ведра в месте, где это «нетронутое цивилизацией» племя занимается стряпней.

Суетность целей, наивное легкоеверие, которое их одобряет и даже порождает, признание наконец, которое является следствием стольких бесполезных усилий (если они не наносят значительного вреда, который старательно пытаются скрыть), все это задействует мощные психологические силы, больше у актеров нежели у их зрителей, и способствует продолжению и расширению исследований местных нравов. Этнография вынуждена улавливать настроения общества и использовать их в своих интересах.

У значительного числа племен Северной Америки социальный престиж определяется тяжестью испытаний, которые подросток переживает в пубертатном периоде. Некоторые сплавляются на плоту в одиночестве и без запасов съестного; другие ищут уединения в горах, не защищенные от хищных зверей, холода и дождя. В течение дней, недель или месяцев, в зависимости от случая, они воздерживаются от пищи: едят только грубую пищу или голодают в течение долгого времени, усугубляя физиологическое истощение употреблением рвотных средств. Кому-то и этого недостаточно: продолжительное пребывание в ледяной воде, добровольное калечение пальцев, разрыв аноневров — под спинные мышцы вбиваются заостренные колышки с привязанным грузом, который нужно тащить. Не все доходят до таких крайностей, но все изнуряют себя порой в самых бесполезных занятиях: удаление растительности с тела волос за волосом, обдиранье еловых веток, пока на них не останется ни одной иголки, выдалбливание каменных глыб.

Доведенные этими испытаниями до состояния отупения, изнеможения или горячки, они надеются уста-

новить связь со сверхъестественными силами. Они верят, что только благодаря физическим страданиям и молитвам к ним явится мистическое существо — дух, который будет отныне охранять их, наречет их своим именем, станет их покровителем, чья власть даст им привилегии и положение внутри социальной группы.

Можно ли полагать, что этим дикарям нечего ждать от общества? Само его устройство и обычаи кажутся им всего лишь механизмом, чье монотонное функционирование не допускает случайности, везения или таланта. Единственный способ обмануть судьбу — это рискнуть пойти против общества, где социальные нормы теряют смысл одновременно с исчезновением гарантий и требований группы: дойти до границ культурной территории, до границ физиологического сопротивления или физического и морального страдания. Балансируя на этом краю, рискуешь или упасть и больше не вернуться, или, напротив, поймать в океане неиспользованных возможностей, который окружает человечество, собственный шанс, свой личный запас сил. Только благодаря этому незыблемый социальный порядок будет нарушен в пользу смельчаков.

Тем не менее такое толкование можно считать достаточно поверхностным и неполным. Ведь в племенах, населяющих североамериканские равнины и плоскогорья, нет места личным убеждениям, идущим вразрез с коллективным учением. Оно же, в свою очередь, способствует процветанию обычаев и философии группы. Именно от группы индивиды получают знания. Вера в охраняющих духов — это дело группы, это она учит своих членов, что жизнь возможна только внутри социального строя, что попытка покинуть его — отчаянный и бессмысленный поступок.

Только слепой не увидит, насколько этот «поиск власти» почитается в современном французском обще-

стве под видом бесхитростных отношений между публикой и путешественниками. Нашей молодежи позволены детские выходки в стремлении вырваться за границы цивилизации: в высоту — совершая восхождения в горы; на глубину — спускаясь в бездны; или же по горизонтали, продвигаясь в глубь самых отдаленных регионов. Наконец, из-за отсутствия чувства меры и моральных принципов некоторые из них попадают в ситуации настолько сложные, что выбраться из них живыми не представляется возможным.

Общество выказывает полное безразличие к разумным результатам таких путешествий. Результатом, как правило, становится само путешествие, а не его цель. Целью же является не научное открытие, не поэтические и литературные исследования, а лишь собирание неприглядных фактов. В нашем случае молодой человек, который на несколько недель или месяцев оставляет общество, чтобы пережить (то с серьезностью и искренностью, то, напротив, с осторожностью и изворотливостью, но туземцы в этих случаях достаточно проникательны) некое приключение, возвращается наделенный влиянием, которое выражается статьями в прессе, огромными тиражами публикаций, докладами в закрытых кабинетах, но чей магический характер вызван процессом автомистификации общества, которая и объясняет этот феномен. Все эти первобытные люди, которым достаточно нанести визит, чтобы вернуться освященным, эти обледеневшие вершины, пещеры и непроходимые чащи, храмы, таящие возвышенные знания, — все это, под разными именами — враги общества, которое пред самим собой разыгрывает комедию, возвеличивая их именно в тот момент, когда решает окончательно уничтожить. Но это же общество испытывало по отношению к ним только ужас и отвращение, когда они были сильными противниками. Не-

счастливые жертвы, попавшие в сети механизированной цивилизации, дикари амазонского леса, слабые и беспомощные, я могу смириться с пониманием неизбежности вашей гибели, но не готов быть обманутым этим чародейством, еще более жалким, чем ваше, которое размахивает перед жадной публикой альбомами цветных снимков, заменяющих ваши уничтоженные маски. Она что, действительно полагает, что с их помощью ей удастся разгадать суть вашего волшебства? Еще не осознав, что уничтожает вас, она стремится лихорадочно насытить вашими тенями тоскливый каннибализм истории, жертвой которого вы пали.

Седой предшественник этих «исследователей» бруссы, неужели я остался единственным, кто не удержал в руках ничего, кроме праха? Мой голос, станет ли он одиноким свидетелем позорного бегства? Как индеец из мифа, я тоже забрался настолько далеко, насколько позволяет земля, и когда достиг края света, люди и вещи поведали мне о его разочаровании: «Он остался там весь в слезах; молящийся и стонущий. Но его слух не мог уловить ни одного таинственного звука, сон покинул его и вместе с ним возможность перенестись в храм магических животных. Сомнений больше не оставалось: никакая власть, ни от кого, не была дана ему...»

Сон, «бог дикарей», как говорили первые миссионеры, подобен ртути, ускользающей из рук. Где он оставил для меня несколько сверкающих частиц? В Куябе, чья земля была когда-то богата золотыми самородками? В Убатубе, ныне пустующем порту, где две сотни лет грузили галеоны? Или, может быть, в полете над пустынями Аравии, розовыми и зелеными, как перламутр морского ушка? Посчастливится мне в Америке или Азии? На равнинах Ньюфаундленда, боливийских плоскогорьях или холмах бирманской грани-

цы? Я выбираю случайное название, еще окутанное очарованием легенды: Лахор.

Летное поле в каком-то пригороде. Нескончаемые широкие улицы засажены деревьям и окружены виллами. Укрывшийся за оградой отель напоминает нормандские конные заводы — выстроенные в линию многочисленные однотипные здания, словно ряд маленьких конюшен, двери которых, расположенные на одинаковом расстоянии, ведут в одинаковые номера: в передней части гостиная, в задней — туалетная комната, посередине — спальня. Километр улицы ведет к площади, где находится здание супрефектуры и от которой отходят другие улицы с редкими лавочками: фармацевт, фотограф, книготорговец, часовщик. Я — пленник этой безликой бесконечности, моя цель кажется уже вне пределов досягаемости. Где этот старый, этот настоящий Лахор? Чтобы обнаружить его на краю этого пригорода, неумело застроенного и уже дряхлого, нужно еще преодолеть километр рынка, где ряды торговцев дешевыми ювелирными изделиями, которые обрабатывают механической пилой листы золота толщиной с жестяные, соседствуют с продавцами косметики, медикаментов, импортных пластмассовых безделушек. Найду ли я его в этих тенистых улочках, пробираясь по которым нужно прижиматься к стенам, чтобы уступить дорогу стаду баранов с шерстью, помеченной голубой и розовой краской, и буйволам — каждый размером как три коровы, — которые вас дружелюбно оттесняют, но чаще всего — грузовому транспорту? Скрывается ли он за деревянными панелями, которыми обшиты стены, ветхими и источенными годами? Я мог бы различить кружевной узор резьбы, если бы проход не был перегороден паучьей металлической сетью электрического оборудования, которой опутан от стены к стене весь старый город. Время от времени

мелькнет, конечно, на несколько секунд, в нескольких метрах, образ, прозвучит отголосок из глубины веков: на улочке чеканщиков по золоту и серебру — звон безмятежного и светлого ксилофона, вызванный рассеянными ударами тысячерукого гения. Я выхожу оттуда, чтобы тотчас утонуть в просторных очертаниях проспектов, грубо обрывающих развалины (возникшие вследствие недавних мятежей) старых домов возрастом в пять сотен лет. Их разрушали и восстанавливали так часто, что их невыразимая ветхость больше не имеет возраста. Таким я себя узнаю — путешественник, археолог пространства, тщетно старающийся воссоздать экзотику с помощью крупиц и обломков.

Вот так, потихоньку, иллюзия начинает плести свои сети. Я хотел бы жить во времена настоящих путешествий, когда зрелище во всем его великолепии еще не было испорчено, опошлено и извращено; не преодолевать эту преграду самому, а как Бернье, Тавернье, Мануччи... Однажды начатая, игра в предположения не имеет конца. Когда нужно было увидеть Индию, какая эпоха могла принести истинное удовлетворение от изучения бразильских дикарей, показать их в наименее искаженной форме? Что было бы ценнее — приехать в Рио в XVIII веке с Бугенвилем или в XVI с Лери и Теве? Каждое пятилетие, отложенное назад на шкале времени, позволяет мне сохранить обычай, застать праздник, разделить еще одно вероисповедание. Но я слишком знаком с законами истории, чтобы не знать, что лишая себя века, я отказываюсь заодно от знаний и новинок, способных обогатить мои наблюдения. И вот передо мной замкнутый круг: чем меньше человеческие культуры были способны общаться между собой и терять самобытность от этих контактов, тем меньше эмиссары различных культур были способны почувствовать богатство и значение этого разнообра-

зия. В конечном счете я являюсь пленником альтернативы: или древний путешественник, столкнувшийся с необыкновенным зрелищем, в котором все или почти все от него ускользало — хуже того, вызывало насмешку или отвращение; или современный путешественник, бегущий по следам исчезнувшей реальности. На этих двух картинах я теряю больше, чем кажется: сожалея о тенях прошлого, не отгораживаюсь ли я от спектакля настоящего, который разыгрывается именно в это мгновение и для просмотра которого я слишком невнимателен? Через несколько сотен лет в этом самом месте другой путешественник, такой же отчаявшийся, как и я, будет оплакивать исчезновение того, что я мог бы увидеть и что ускользнуло от меня. Жертва двойного недуга — все, что я замечаю, раздражает меня, и беспрерывно я упрекаю себя в том, что недостаточно смотрю.

Долго парализованный этой необходимостью выбора, я стал тем не менее замечать, что туман в моем сознании начал рассеиваться. Мимолетные формы обретают очертания, смятение постепенно исчезает. Что же этому способствовало, как не обычное течение времени? Собирая воспоминания в единый поток, забвение не просто воспользовалось ими и погребло под развалами памяти. Внушительное здание, которое оно выстроило из этих фрагментов, придает моим шагам более устойчивое равновесие, моему зрению более ясный рисунок. Один порядок был заменен другим. Теперь на расстоянии между двумя этими отвесными скалами — моим взглядом и его целью — годы, которые разрушают их, начали нагромождать обломки. Края истончены, целые полотнища обрушиваются: времена и места сталкиваются, наслаиваются друг на друга или перемешиваются, как отложения, потрескавшиеся от дрожания постаревшей поверхности. Мелкая

деталь, самая незначительная и древняя, возвышается как пик, тогда как целые пласты моего прошлого оседают, не оставляя и следа. События, никак между собой не связанные, происходившие в разное время и в разных местах, проносятся в памяти и внезапно замирают наподобие небольшого замка, проект которого задумал архитектор более мудрый, чем моя история. «Каждый человек, — пишет Шатобриан, — несет в себе мир, состоящий из всего, что он видел и любил, и куда он беспрестанно возвращается, даже тогда, когда кажется просто прохожим или же жителем чужого мира»*.

Отныне переход стал возможен. Между жизнью и мной время проложило тропинку, и она длиннее, чем я успел пройти. Через двадцать лет небрежения я отправляюсь на свидание с прошлым опытом, некогда отказавшем мне в глубине, но теперь я пройду этот путь до конца, чтобы постичь его смысл и сделать по-настоящему своим.

* «Путешествия в Италию», 11 декабря.

Вторая часть

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

V. Оглядываясь назад

Моя карьера началась в одно осеннее воскресенье 1934 года, в 9 часов утра, с телефонного звонка. Звонил Селестин Бугле, директор Эколь Нормаль. На протяжении нескольких лет он оставался благосклонен ко мне, но при этом всегда был несколько холоден и сдержан: ведь я не относился к числу студентов, но даже если бы было и так, я не принадлежал к его «конюшне», к которой он питал исключительные чувства. Вероятно, Бугле не мог сделать лучшего выбора, так как достаточно резко спросил меня:

— Вы по-прежнему хотите заниматься этнографией?

— Конечно!

— Тогда выставите свою кандидатуру на должность профессора социологии в университете Сан-Паулу. Там вокруг полно индейцев, вы им посвятите ваши выходные. Нужно, чтобы вы дали окончательный ответ Жоржу Дюма до полудня.

Не могу сказать, что Бразилия и Южная Америка что-то значили для меня. Тем не менее я и сейчас отчетливо вижу образы, которые вызвало это неожиданное предложение. Экзотические страны казались мне полной противоположностью нашей. В данном случае мое сознание наделяло термин «антипод» смыслом более богатым и более наивным, чем его буквальное зна-

чение. Мне не верилось, что животный или растительный вид может одинаково выглядеть по разные стороны земного шара. Каждое животное, каждое дерево, каждая травинка должны были коренным образом отличаться, при первом же взгляде выказывая свою тропическую сущность. Бразилия рисовалась в моем воображении зарослями изогнутых пальм, скрывающими причудливые архитектурные формы, благоухающей ароматами курильниц. Обонятельная деталь добавлена, видимо, подсознательно отмеченной омофонией французских слов «Brésil» (Бразилия) и «grésiller» (потрескивать). И сегодня, когда я вспоминаю о Бразилии, этот запах начинает витать в воздухе.

Оглядываясь назад, я понимаю, что эти представления все же соответствовали действительности. Ведь достоверность сведений заключается не в ежедневном наблюдении за объектом, а в кропотливом детальном анализе исследований, результаты которого неоднозначность происходящего побуждала меня высказывать в виде каламбура — средства выражения символического вывода, который я не был в состоянии ясно сформулировать. Исследование — это не столько пройденный путь, сколько тщательные поиски: порой случайная сцена, уголок пейзажа, внезапно пришедшая мысль позволяют составить верное понимание происходящего.

Но в тот момент сумасбродное обещание Бугле относительно индейцев вызывало немало сомнений. Откуда взялось убеждение, что Сан-Паулу или, по крайней мере, его окрестности заселены туземцами? Вероятно, по аналогии с Мехико или Тегусигальпой. Этот философ, который когда-то написал работу о кастовом укладе Индии, даже не удосужившись сначала поехать посмотреть страну («в потоке событий только институты держатся на плаву», — надменно провозглашал он в своем предисловии 1927 года), как будто не считал,

что положение аборигенов должно быть честно отражено в этнографическом исследовании. Однако он не был единственным среди признанных социологов, кто выказывал подобную безучастность, примеры которой мы наблюдаем.

Как бы там ни было, я сам был слишком несведущ, чтобы не принять такие благоприятные для своих планов заблуждения. Жорж Дюма также имел по этому вопросу представления весьма неточные: он знал южную Бразилию в эпоху, когда истребление местного населения еще не достигло своего предела; вращался в обществе диктаторов, феодалов и меценатов, был доволен своей успешностью и мало занимался изучением коренного населения.

Итак, я был крайне удивлен, когда во время обеда, на который меня привел Виктор Маргерит, я услышал в словах посла Бразилии в Париже отзвуки погребального колокола: «Индейцы? Увы, мой дорогой месье, прошел не один десяток лет, как они все исчезли. О, это печальная, даже постыдная, страница в истории моей страны. Но португальские колонисты XVI века были людьми алчными и кровожадными. Как их упрекнуть в повсеместной жестокости нравов? Они отлавливали индейцев, привязывали их к пушечному жерлу и заживо разрывали на части залпами. Такими они были до вчерашнего дня. Вам предстоит, как социологу, найти в Бразилии много удивительного, но индейцы... Не думайте больше о них, вы там ни одного не встретите...»

Когда я сегодня вспоминаю эти слова человека высшего общества 1934 года, они кажутся мне невероятными и напоминают, до какой степени бразильская элита того времени (к счастью, она с тех пор изменилась) испытывала отвращение к любому намеку на туземцев, даже не допуская его в интерьере. Вместо того чтобы признать — и даже подчеркнуть, — что именно

индейская прабабка подарила их облику неуловимую экзотичность, что эти несколько капель или литров черной крови придавали им особую утонченность (в отличие от предков императорской эпохи), они пытаются заставить забыть об этом. Тем не менее индейская восходящая линия родства Луиша ди Суза-Данташа не вызывала сомнений, и он мог легко ею гордиться. Но, будучи бразильцем, в отрочестве радушно принятым Францией, он не интересовался действительным положением дел в своей стране и предпочел заменить его в памяти чем-то вроде официального и изящного шаблона. В соответствии с некоторыми воспоминаниями, оставшимися у него, он счел удобным также, полагаю, очернить бразильцев XVI века, чтобы отвлечь внимание от любимого развлечения его предков во времена юности, а именно: собирать в лечебницах зараженную одежду больных оспой, чтобы развесить ее вперемешку с другими подарками вдоль тропинок, по которым еще ходили индейцы. В итоге был получен блестящий результат: штат Сан-Паулу, величиной с Францию, на картах 1918 года на две трети обозначенный как «неизвестная территория, заселенная только индейцами», не насчитывал, когда я приехал туда в 1935 году, больше ни одного туземца, кроме группы из нескольких семей, проживающих на побережье, которые торговали по воскресеньям на пляжах Сантуса так называемыми диковинками. К счастью, индейцев еще можно было найти, пройдя три тысячи километров в глубь страны.

Я не мог бы упомянуть об этом периоде, не остановив дружеского взгляда на другом мире, знакомству с которым я обязан Виктору Маргериту (который ввел меня в бразильское посольство). После непродолжительного периода службы в качестве его секретаря на протяжении моих последних студенческих лет мы оста-

лись в теплых отношениях. В мои обязанности входило обеспечить выход одной из его книг — «Человеческая родина», — нанося визиты сотне важных парижан, чтобы доставить экземпляр, подписанный для них мэтром, — он настаивал, чтобы его так называли. Я должен был также составлять статьи и так называемые отзывы, побуждая критиков к соответствующим отзывам. Виктор Маргерит остается в моей памяти не только из-за его доброго отношения ко мне, но также (что в данном случае больше всего меня удивляет) из-за противоречия между его личностью и его произведением. Насколько последнее может показаться простым и шероховатым, несмотря на благородство автора, настолько память о человеке достойна долговечности. В его лице были чуть женственные приятность и тонкость черт готического ангела, и все его манеры излучали такое естественное благородство, что его недостатки (среди которых тщеславие занимало не самое последнее место) не шокировали и не раздражали, поскольку казались подтверждением превосходства крови или ума.

Он жил в квартале 17 округа в большой квартире, мещанской и обветшалой, где его окружала активной заботой уже почти слепая жена. Ее возраст (который исключает слияние, возможное только в молодости, черт физических и душевных) превратил в некрасивость и живость то, что некогда казалось пикантным.

Он принимал у себя очень редко, не только потому, что считал себя непризнанным молодыми поколениями, и потому, что официальные круги отвернулись от него, но в особенности потому что он взобрался на такой высокий пьедестал, что ему становилось крайне трудно найти собеседников. Случайно или намеренно, я никогда так и не узнал этого, он содействовал учреждению международной ассоциации сверхлюдей. В ее состав входили пять или шесть человек: он сам, Кей-

зерлинг, Владислав Реймонт, Ромен Роллан и, кажется, какое-то время Эйнштейн. Основная их деятельность состояла в том, что каждый раз, когда один из членов ассоциации издавал книгу, другие, разбросанные по миру, спешили приветствовать ее как одно из самых высоких проявлений человеческого гения.

Особенной чертой Виктора Маргерита была наивность, с которой он хотел видеть в себе всю историю французской литературы. Это было несложно, ведь он происходил из литературной среды: его мать была двоюродной сестрой Малларме. Забавные истории и воспоминания подкрепляли его позерство. У него в гостях так же запросто говорили о Золя, Гонкурах, Бальзаке, Гюго, как о дядях, дедушках и бабушках, от которых он получил наследство. И когда он восклицал с раздражением: «Говорят, что я пишу без стиля! А Бальзак, разве у него был стиль?», можно было подумать, что ты беседуешь с потомком королей, объясняющим одну из своих проказ вспылчивым характером предка, настолько известным, что простые смертные воспринимают его не как индивидуальную черту, а как официально признанное объяснение одного из самых больших потрясений современной истории; и вздрагивают от восторга, видя его новое воплощение. Были и более талантливые писатели, но мало кто из них сумел с таким изяществом сформировать аристократическое восприятие своей профессии.

VI. Как становятся этнографом

Я готовился к конкурсу на замещение должности преподавателя по философии, к чему меня побудило не столько истинное призвание, сколько отвращение к другим наукам, которые я пробовал изучать до этого.

К концу занятий философией я был пропитан идеями рационалистического монизма, который готовился подтверждать и защищать. Итак, я сделал все возможное, чтобы попасть на отделение, где преподаватель имел репутацию самого «передового». Действительно, Густав Родригес был активистом социалистической партии, но, с точки зрения философии, его теория представляла смесь бергсонизма и неокантианства, которая грубо обманывала мои ожидания. Служа догматической холодности, он проявлял горячность, которая на протяжении лекций выражалась страстной жестикуляцией. Мне никогда ранее не приходилось сталкиваться со столь искренней убежденностью вкупе со столь скудными размышлениями. Он покончил с собой в 1944 году, когда немцы вошли в Париж.

Как раз тогда я начал узнавать, что любая проблема, серьезная или ничтожная, может быть разрешена применением единственного метода, который состоит в противопоставлении двух традиционных точек зрения на данную проблему: подкрепить первую соображениями здравого смысла, потом разрушить посредством второй. Наконец зачесть ничейный результат благодаря третьей, которая обладает характерными чертами, в равной степени отличными от двух других. Затем свести хитроумными словопрениями к взаимодополняющим аспектам одной и той же реальности: форма и содержание, содержащее и содержимое, быть и казаться, постоянный и прерывистый, сущность и существование и т.д.

Эти словесные упражнения основаны на искусстве каламбура, который заменяет размышление. Ассонансы, омофонии и амбивалентности предоставляют возможность неожиданных развязок, по замысловатости которых узнаются хорошие философские труды.

Пять лет Сорбонны сводились к изучению этой гимнастики, опасности которой тем не менее очевидны. Во-первых, гибкость таких рассуждений создает ложное впечатление простоты решения любой задачи таким образом. Мои товарищи и я, мы предлагали самые сумасбродные темы для семинара (на котором, после нескольких часов подготовки, обсуждался вопрос, выбранный жребием). Я прилагал немало усилий, чтобы подготовить за десять минут часовой доклад на прочной диалектической основе о взаимном превосходстве автобусов и трамваев. Метод этот не просто является универсальным инструментом, он побуждает выбрать единственно верную форму размышления, которая, после внесения необходимых изменений, приведет к нужному выводу: подобно музыке, когда в разнообразии звуков слышится одна мелодия, как только становится понятно, что она читается то в скрипичном, то в басовом ключе. С этой точки зрения, изучение философии развивало умственные способности, но в то же время иссушало дух.

Еще более серьезную опасность я вижу в замещении расширения знаний возрастающей сложностью конструкций умозаключений. Нам предлагалось практиковать динамический синтез исходя из теорий наименее адекватных, поднимаясь до более изошренных, но в то же время (и принимая во внимание историческое беспокойство, которое одолевало всех наших учителей) нужно было объяснить, как одни постепенно рождались из других. По существу речь шла не столько о том, чтобы установить истину и ложь, сколько о возможности устранения противоречия. Философия не была *ancilla scientiarum*, служанкой и помощницей научного исследования, но чем-то вроде эстетического самосозерцания сознания. Рассматривали, как на протяжении веков она создавала все более легкие и ориги-

нальные конструкции, решала задачи уравнивания или досягаемости, изобретала логические тонкости, и все это было тем более достойным похвалы, чем совершеннее оказывалась техническая сторона или внутреннее единство. Преподавание философии походило на преподавание истории искусств, которое провозглашало бы готику непременно выше романского стиля, и утверждало, что пламенеющая готика более совершенна, чем обычная, но никто не задавался бы вопросом, что красиво, а что нет. Символы утратили исторический смысл, никто больше не следил за соблюдением правил. Гибкость ума заменила достоверность. После лет, посвященных этим упражнениям, я снова оказываюсь один на один с несколькими безыскусственными убеждениями, которые не очень отличаются от убеждений моих пятнадцати лет. Возможно, я острее ощущаю недостаточность этих средств; но они, по крайней мере, имеют практическую ценность, делающую их пригодными к службе, которая от них требуется. Я не боюсь ни попасться на удочку их внутренней сложности, ни забыть их практическое предназначение, ни потеряться в созерцании их чудесного устройства.

Существовали и более личные причины скорого разочарования, которое отдалило меня от философии и заставило заинтересоваться этнографией, ухватившись за нее как за спасательную веревку. Проведя в лицее Мон-де-Марсана один счастливый год, в течение которого я преподавал и разрабатывал собственный курс лекций, с началом следующего года занятий в Лаоне, куда я был назначен, я с ужасом обнаружил, что весь остаток моей жизни уйдет на то, чтобы повторять этот курс. Однако мой ум обладает одной особенностью, которая, вероятно, является недугом — мне трудно заставлять его дважды останавливаться на од-

ном и том же объекте. Обычно конкурс на замещение должности преподавателя воспринимается как нечеловеческое испытание, в результате которого, стоит только проявить достаточное рвение, выигрываешь покой. Для меня же все было наоборот. Пройдя свой первый конкурс, младший среди кандидатов, я без усилий выиграл эту гонку с препятствиями в виде доктрин, теорий и гипотез. Но именно потом начинались мои мучения: мне не представлялось возможным каждый раз повторять одни и те же лекции, не внося изменений. Это вызывало еще большие затруднения, когда я выступал в роли экзаменатора: вытаскивая наобум вопросы программы, я даже не предполагал, какие ответы должны мне дать кандидаты. Все сказанное казалось несущественным. Словно любая тема теряла для меня значение от одного факта, что я однажды ее уже проанализировал.

Сегодня время от времени я задаюсь вопросом: можно ли сомневаться в том, что этнография привлекла меня именно структурным сходством между цивилизациями, которые она изучает, и особенностями моих собственных мыслей. Я не в силах терпеливо собирать год за годом и сохранять культурный урожай: у меня неолитическое мышление. Подобно огню лесного пожара, оно охватывает неисследованные земли, поспешно их оплодотворяет, чтобы собрать несколько урожаев, и оставляет опустошенными. В то время я не мог осознать этих глубинных мотивов. Я ничего не знал об этнологии, я никогда не посещал лекций, и когда сэр Джеймс Фрейзер нанес свой последний визит в Сорбонну и произнес там памятный доклад — кажется, в 1928 году, — хоть я и знал об этом событии, меня даже не посетила мысль присутствовать там.

С раннего детства я увлекался коллекционированием экзотических редкостей — антикварных вещиц, ко-

торые были мне по карману. В юности я не мог принять решения относительно будущей профессии. Первым сделал попытку определить мои склонности профессор по философии, Андре Крессон, порекомендовав мне изучение права как наилучшим образом отвечающее моему характеру. Я с благодарностью храню память о нем, ведь в его заблуждении была доля истины.

Итак, я отказался от поступления в Эколь Нормаль и занялся изучением права, одновременно готовясь к лиценциату по философии; просто потому, что это не требовало особых усилий. Право находилось в странном положении: между теологией, близкой ему по духу, и журналистикой, к которой его подталкивали последние преобразования; иначе говоря, сложность заключалась в необходимости одновременно блюсти незыблемость и учитывать реалии: оно теряет одну из добродетелей в попытке проявить другую. Юрист представлялся мне объектом для изучения, он напоминал мне животное, которое пытается объяснить принцип действия волшебного фонаря зоологу. Тогда, к счастью, занятия по праву продолжались две недели и заключались в заучивании наизусть немногочисленных справочников. Меня отталкивала не столько скудная основа, сколько клиентура. Существовали ли заметные различия между правыми и виноватыми? Сомневаюсь. Но к 1928 году студенты первого курса, изучающие различные дисциплины, разделились на две группы, два обособленных племени: право и медицина с одной стороны, а филология и естественные науки — с другой.

Малопривлекательные термины «экстравертный» и «интровертный» являются самыми подходящими для описания противоречия. С одной стороны, «молодежь» (в том смысле, в котором традиционно используется этот термин, чтобы обозначить категорию возраста) шумная, энергичная, самоутверждающаяся любой це-

ной вплоть до вульгарности, с крайне правыми политическими пристрастиями; с другой — раньше времени состарившиеся подростки, сдержанные, тихие, стремящиеся к уединению, сочувствующие «левым», мечтающие скорее быть принятыми в число взрослых, которыми так хочется стать.

Объяснение этого различия достаточно просто. Первые осваивают основы профессии, утверждая своим поведением освобождение от школы и собственное новое положение в системе социальных функций. Оказавшись в ситуации, промежуточной между неопределенным положением лицеиста и будущего специалиста в своей области профессиональной деятельности, они сознают себя в резерве и отстаивают свое право на несовместимые преимущества, свойственные и тому, и другому положению.

На факультетах филологии и естественных наук привычные перспективы трудоустройства: профессура, научно-исследовательская работа и несколько неопределенных профессий другого свойства. Студент, который их выбирает, не прощается с детским миром: он скорее старается остаться там. Профессура — разве не единственный способ для взрослого оставаться в школе? Студент факультета филологии или естественных наук словно отвечает отказом на требования общества. Почти монашеский инстинкт толкает его погружаться в учебу на более или менее длительный срок, чтобы сохранять и передавать накопленные знания. Что же до будущего ученого, его объект соизмерим только с продолжительностью мира. Нет смысла пытаться объяснить им, во что они ввязываются. Даже когда они думают, что берут на себя профессиональные обязанности, они не отождествляют себя с исполняемыми функциями, а лишь наблюдают со стороны. Их позиция — еще и своеобразная манера сохранить свободу.

Преподавание и исследовательская деятельность не совпадают с этой точки зрения с обучением профессии. Это их величие и их беспомощность, которые могут быть или убежищем, или миссией.

В этом противостоянии профессии и исследовательской деятельности этнография занимает особое место, имея отношение к одному и к другому и будучи скорее одним, чем другим. Приписывая себе человеческие качества, этнограф тем не менее стремится изучать человека с точки зрения возвышенной и отдаленной, чтобы мысленно абстрагировать его от обстоятельств, свойственных конкретному обществу или конкретной цивилизации. Условия жизни и работы физически отстраняют его от общества на долгое время. Резкие перемены, частые переселения приводят его к утрате собственных корней: нигде и никогда он больше не почувствует себя дома, он останется психологически искалеченным. Подобно математике или музыке, этнография — одно из редких подлинных призваний, которое можно открыть в себе без всякого обучения.

К индивидуальным особенностям и социальной позиции нужно добавить мотивы чисто духовной природы. Период 1920–1930 годов был периодом распространения во Франции психоаналитических теорий. С их помощью я узнавал, что постоянные противоречия, вокруг которых нас учили строить философские рассуждения, а потом и лекции — рациональное и иррациональное, интеллектуальное и эмоциональное, логическое и дологическое, — сводились к бесплодной игре. Прежде всего, по ту сторону рационального существует более важная и более обширная категория — категория означающего, которая является самым высоким воплощением рационального. Названия этой категории наши учителя (более занятые осмыслением «Очерка о непосредственных данных» Анри Бергсона, чем «Курса об-

щей лингвистики» Ф. де Соссюра) даже не произносили. Впоследствии творчество Фрейда раскрыло мне, что противопоставления таковыми в действительности не были, поскольку именно самые эмоциональные, наименее рациональные, на первый взгляд, противоречащие логике поступки и являются как раз самыми осмысленными. Уходя от догматов или логических ошибок бергсонизма, измельчающих людей и вещи до состояния каши, чтобы выявить их изначальную природу, я убеждался, что люди и вещи могут сохранять их собственное значение, не теряя четкости контуров, которые отделяют их друг от друга и дают каждому осмысленную структуру. Познание не основывается на самоотречении или обмене, а заключается в отборе истинных аспектов, то есть тех, которые совпадают с особенностями моего мышления. Не так, как это утверждали неокантианцы, потому что их мышление основывается на неизбежном принуждении, а моя мысль сама по себе является объектом. Будучи «от мира сего», она принадлежит той же природе, что и он.

Эта интеллектуальная эволюция, которую я испытал вместе с моим поколением, сопровождалась тем не менее одной особенностью по причине любознательности, которая еще в детстве подтолкнула меня к геологии. К самым ярким воспоминаниям я отношу изучение стыка между двумя геологическими пластами известнякового плато в неизведанном районе центральной Бразилии. Речь идет не о прогулке или простом осмотре местности: это было исследование, которое для непосвященного наблюдателя могло показаться непоследовательным, а мне представляется процессом познания, которое противопоставляет трудности предвкушению радости.

Любой пейзаж представляется нам вначале как неопишуемый беспорядок, и мы вольны наделить его по-

нятным нам смыслом. Но выше земледельческих соображений, географических случайностей, превратностей истории и предыстории, высочайший смысл из всех не тот ли, который предшествует, господствует и в значительной степени объясняет другие? Эта едва различимая граница, это часто неуловимое различие в форме и составе обломков скал свидетельствуют, что там, где я вижу сегодня безводную почву, некогда сменяли друг друга два океана. Ступая по следам доказательств их тысячелетнего существования и преодолевая все препятствия — крутые склоны, осыпи, густые кустарники, обработанные участки, — не глядя ни на тропинки, ни на преграды, кажется, что идешь наперекор здравому смыслу. Но я преследовал единственную цель — вернуть главный утраченный смысл, пусть на первый взгляд не ясный, но любой другой, каким бы он ни был, является всего лишь его частичным отражением или даже искажением.

Порой случаются чудеса. Например, два зеленых растения разных видов вырастают по обе стороны невидимой трещины, где каждое выбрало для себя наиболее благоприятную почву. Или два по-разному закрученных аммонита, свидетельствуя о разрыве в несколько десятков тысячелетий, угадываются в структуре горной породы рядом: внезапно пространство и время совпадают, в застывшем в вечности живом разнообразии в одну минуту сплетаются эпохи. Мысли и чувства проникают в новое измерение, где каждая капля пота, каждое сокращение мышц, каждый вздох становятся символами истории, чье движение воспроизводит мое тело, в то время как мысль старается уловить смысл. Я будто погружаюсь в такую область понимания, в недрах которой века и места перекликаются и говорят наконец на одном языке.

Когда я познакомился с теориями Фрейда, они показались мне столь же естественными, как применение к отдельному человеку метода, который лежал в основе геологии. В обоих случаях исследователь сталкивается с редким явлением, на первый взгляд непостижимым; в обоих случаях он, чтобы описать и оценить детали сложной ситуации, задействует личные качества: чувствительность, проницательность и хороший вкус. И все же порядок, который образует единое целое из бессвязных частиц, не является ни случайным, ни произвольным. В отличие от истории историков, история геологов, как и история специалиста по психоанализу, стремится проецировать во времени, наподобие ожившей картинке, некоторые фундаментальные особенности физического или психического мира. Что же касается упомянутой мной ожившей картинке, в самом деле, проявление подсознательных психических процессов в виде притч позволяет наивно толковать каждый жест как раскрытие во времени некоторых вечных истин, и притчи пытаются утвердить их конкретный смысл в сфере морали, но в других областях эти истины становятся законами. Таким образом наше эстетическое любопытство позволяет нам их постичь.

К семнадцати годам я был приобщен к марксизму молодым бельгийским социалистом, с которым познакомился во время каникул. Сегодня он является послом своей страны за границей. Читая Маркса, я восхищался, поскольку впервые, через этого великого мыслителя, столкнулся с философским течением — от Канта до Гегеля: мне открылся целый новый мир. С того времени это ощущение никогда не покидало меня, и я редко берусь решать социологическую или этнографическую проблему, не освежив мыслей несколькими страницами «18 Брюмера Луи Бонапарта» или «К критике политической экономии». Впрочем,

речь не о том, что Маркс точно предвидел то или иное развитие истории. Вслед за Руссо и в достаточно убедительной форме он разъяснил, что общественная наука не основывается больше на фактах, а физика — на точных параметрах: целью является создать модель, изучить особенности ее поведения в лабораторных условиях, чтобы применить впоследствии эти наблюдения к толкованию процессов, происходящих в реальном мире, которые могут сильно отличаться от ожидаемого.

Марксизм, говоря о другой стороне жизни, как мне казалось, следовал тем же законам, что и геология и психоанализ (в том смысле, который придал ему основатель). Все три наглядно показывают, что понимание заключается в приведении одного вида реальности к другому; что подлинная реальность никогда не является очевидной; и что природа истины уже проявляется в стремлении ускользнуть от взгляда. В любом случае, ставится одна и та же задача — установить связь между чувственным восприятием и рациональным, и искомая цель та же: нечто вроде суперрационализма, стремящегося интегрировать первое во второе, не жертвуя ни одним из их свойств.

Я был глух к намечающимся новым тенденциям метафизической мысли. Феноменология меня раздражала тем, что ставила непременным условием связь между переживанием и внешним миром. Соглашаясь признать, что одно заключает в себе и объясняет другое, я узнал от трех моих вышеупомянутых «учителей», что переход между двумя категориями прерывен; чтобы достигнуть внешнего мира, нужно сначала отказаться от пережитого, даже если впоследствии его снова придется восстановить путем объективного синтеза, лишенного всякой чувственной основы. Что касается движения мысли, которое обрело полную свободу в эк-

зистенциализме, оно мне казалось противоположностью обоснованного анализа, по причине снисходительности, которую оно проявляет по отношению к субъективным заблуждениям. Это возведение личных интересов до уровня философских проблем рискует привести к чему-то вроде метафизики для простушек, простительной в качестве дидактического приема, но очень опасной, когда она позволяет уклониться от миссии, возложенной на философию до тех пор, пока наука не обретет достаточно сил, чтобы заменить ее. Миссия же философии состоит в понимании объективной, а не субъективной сущности. Вместо того чтобы упразднить метафизику, феноменология и экзистенциализм предоставляли средства для ее оправдания.

Этнография стихийно утверждается в своих владениях между марксизмом и психоанализом, которые являются гуманитарными науками, одна из которых изучает общество, другая — человеческую природу, а также физической наукой геологией — матерью и кормилицей истории, методом и одновременно объектом которой она является. Человечество, которое мы знаем, формировалось исключительно под влиянием пространства своего обитания, и это наделяет новым смыслом знания об изменениях земного шара, которые предоставляет нам геологическая история. Это история непрерывной, длящейся на протяжении тысячелетий, деятельности сообществ неизвестных подземных сил и отдельных проявлений личностей, достойных внимания психоаналитика. Этнография приносит мне интеллектуальное удовлетворение: как история, которая соединяет две крайние точки — историю мира и мою, она раскрывает их общие мотивы. Предлагая мне изучить человека, она избавляет меня от сомнений, учитывая те его отличия и изменения, которые свойственны людям вообще. Исключением являются

представители одной цивилизации, которые теряют эти отличия, как только выходят за ее пределы. Наконец, она унимает мой беспокойный и деструктивный аппетит, давая моим мыслям почти неисчерпаемый предмет изучения, богатый разнообразием нравов, обычаев и институтов. Она примиряет мой характер и образ жизни.

После этого может показаться странным, что, приступив к занятиям по философии, я так долго оставался глух к посланию, которое содержалось в трудах представителей французской социологической школы. В сущности, озарение произошло только в 1933 или 1934 году, при чтении случайно встреченной книги «Примитивное общество» Роберта Х. Лоуи. Вместо понятий, заимствованных из книг и немедленно преобразованных в философские концепции, я столкнулся с жизненным опытом коренных обществ, достоверно описанным и не искаженным наблюдателем. Моя мысль погибала от удушья в закрытом сосуде, в который заключили ее занятия философским анализом. Выведенная на свежий воздух, она ощутила прилив новых сил. Как городской житель, впервые очутившийся в горах, я упивался пространством, пока мой восхищенный взгляд оценивал все богатство и разнообразие окружающей картины.

Так, с чтения началось близкое знакомство с англо-американской этнологией, впоследствии подкрепленное личными контактами и ставшее причиной серьезных недоразумений. Сначала в Бразилии, где преподаватели университета ожидали, что я внесу свой вклад в обучение дюркгеймовской социологии. К этой мысли их подтолкнула столь живучая в Южной Америке позитивистская традиция и желание предоставить философскую базу умеренному либерализму, который является обычным идеологическим оружием олигар-

хии против личной власти. Я открыто выступал против Дюркгейма и против любых попыток использовать социологию в метафизических целях. В тот момент я как раз старался изо всех сил расширить свой кругозор и не собирался участвовать в восстановлении старых стен. Меня часто с тех пор необоснованно попрекали в подчинении англо-саксонской мысли. Что за вздор! Сейчас я, возможно, более чем кто-либо, верен дюркгеймовской традиции — и этот факт не остался незамеченным за границей. Авторы, о которых я считаю своим долгом упомянуть: Лоуи, Кребер, Боас, — кажутся мне максимально удаленными от американской философии, восходящей к Уильяму Джеймсу или Дьюи (а теперь представленной так называемыми логическими позитивистами), которая давно устарела. Европейцы по происхождению, сформировавшиеся в Европе самостоятельно или под влиянием европейских учителей, они провозглашают совершенно иное: синтез. Четырьмя веками ранее Колумб обеспечил этому четкому научному методу уникальную экспериментальную площадку — Новый Свет. В тот момент, располагая лучшими библиотеками, можно было покинуть свой университет и отправиться в коренную среду так же легко, как мы едем в Страну Басков или на Лазурный берег. Я выказываю почтение не интеллектуальной традиции, а исторической ситуации. Можно только мечтать о привилегии застать жителей, не затронутых серьезным исследованием и достаточно хорошо сохранившихся благодаря тому, что с начала их истребления прошло так мало времени. Понять это поможет одна любопытная история об индейце, чудом спасшемся во время уничтожения калифорнийских, еще диких, племен. В течение многих лет он жил, никому неизвестный, вблизи больших городов, высекая каменные острия для своих охотничьих стрел. Но дичи становилось

все меньше. И однажды этого индейца обнаружили голым и умирающим от голода на въезде в пригород. Он окончил свое существование тихо, как консьерж университета Калифорнии.

VII. Закат

Все эти длинные и бесполезные рассуждения были необходимы, чтобы подвести к одному февральскому утру 1935 года, когда я прибыл в Марсель с намерением сесть на судно в направлении Сантуса. Впоследствии было много отъездов, но все они смешались в моей памяти, которая хранит лишь несколько образов: сначала это необычное оживление зимы на юге Франции. Под прозрачным голубым небом, необычайно легкий, колющий воздух дарил едва терпимое удовольствие, словно вы залпом выпили стакан ледяной газированной воды, чтобы утолить жажду. Особенно тяжелой после него кажется затхлость теплых помещений неподвижного судна: смесь морских ароматов, кухонных испарений и не успевшей выветриться масляной краски. Я вспомнил приглушенный стук работающего двигателя, сливающийся с шуршанием воды вдоль корпуса судна, которое среди ночи навеивает ощущение душевного покоя, я бы сказал, почти безмятежного счастья. Словно движение достигло какой-то устойчивой сущности, более совершенной, чем неподвижность; которая, напротив, при резком пробуждении во время ночного захода в порт вызывает ощущение опасности и тревоги: раздражение из-за внезапно нарушенного естественного хода вещей.

Наши корабли посетили множество гаваней. Почти всю первую неделю путешествия мы, можно сказать, провели на суше, пока грузили и разгружали фрахт;

шли по ночам. Каждое утро мы встречали в новом порту: Барселона, Таррагона, Валенсия, Аликанте, Малага, Кадикс; Алжир, Оран, Гибралтар, перед самым долгим переходом, который вел в Касабланку, и наконец, в Даккар. И только тогда начиналось долгое путешествие, то прямо до Рио и Сантуса, то, затянутое под конец каботажным плаванием вдоль бразильского берега, с заходами в порт в Ресифи, Баия и Виктории. Воздух постепенно нагревался, мягкие очертания испанской сьерры тянулись вдоль горизонта, и на протяжении дней взору представляли миражи в форме прибрежных утесов, вблизи побережья Африки, слишком низкого и заболоченного, чтобы его можно было внимательно разглядеть. Это было что-то обратное путешествию. Корабль оказался для нас не видом транспорта, а жилищем и очагом, вокруг которого вращался окружающий мир, каждый день удивляя новым пейзажем.

Однако этнографический дух был еще настолько чужд мне, что я не думал о том, чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Позже я узнал, насколько беглое знакомство с городом, регионом или культурой тренирует внимание и даже позволяет иногда — из-за высокой степени сосредоточенности ввиду краткости отмеренного судьбой момента — постичь такие свойства объекта, которые бы при других обстоятельствах остались скрытыми. В то время меня гораздо больше волновали другие впечатления, и с наивностью новичка я каждый день, стоя на пустынной палубе, жадно наблюдал сверхъестественные явления, чье рождение, развитие и конец представляли восход и заход солнца. Сценой всему этому служил горизонт, более широкий, чем я мог когда-либо видеть. Если бы я мог подобрать слова, чтобы описать всю мимолетность и неистовость этого зрелища, если бы я мог передать ощущение каждого мгновения, каждого неуло-

вимого изменения, кажется, я бы сумел разом постичь все тайны моей профессии: и не было бы в моих этнографических исследованиях ни одного, даже самого причудливого и необыкновенного опыта, о котором я не смог бы ясно и доступно рассказать каждому.

Удастся ли мне, после стольких лет, вернуться в это восторженное состояние? Смогу ли вновь пережить эти тревожные минуты, когда, с блокнотом в руке, я безостановочно подбираю фразы, которые позволили бы запечатлеть эти рассеивающиеся и заново рождающиеся формы? Игра еще околдовывает меня, и я готов рискнуть.

Написано на корабле

Для ученых рассвет и закат — явления одинаковой природы. Так же считали греки, у которых оба явления обозначались одним словом, значение которого зависело от времени суток — шла ли речь о вечере или утре. Эта путаница как нельзя лучше отражает стремление к правильности умозрительных построений и странную небрежность по отношению к конкретным деталям. Некоторая точка земли, находящаяся в непрерывном движении, оказывается между зоной падения солнечных лучей и зоной, куда свет не попадает или отражается. Но в реальности нет ничего более различного, чем вечер и утро. Восход — это прелюдия, в конце которой, а не вначале, как в старинных операх, разыгрывается увертюра. По лику солнца можно определить, каким будет следующее мгновение: если мрачный и мертвенно-бледный, то первые утренние часы ожидаются ненастные; если розовый, легкий, пенный, то небо озарится ясным солнечным светом. Но о том, что ждет нас в течение всего дня, утренней заре знать не дано. Она выступает в роли метеоролога и сообщает: будет дождь, будет хорошая погода. Иначе дело обстоит с заходом солнца. Речь идет о полноценном спектакле с началом, серединой и концом — нечто вроде миниатюры сражений, побед и поражений, которые в течение следующих двенадцати часов будут разворачиваться в более медленном темпе. Рассвет — это только начало дня; закат — его повторение.

Вот почему люди уделяют больше внимания закату, а не рассвету. Восходящее солнце лишь дополняет сведения, которые дают термометр и баро-

метр, а у менее цивилизованных народов — фазы луны, полет птиц или колебания приливов. Тогда как закат не только рассказывает о таинственных физических явлениях, изменяющих направления ветра и приносящих холод, жару или дождь, но и отражает причудливую игру сознания. Когда небо начинает освещаться отблесками заходящего солнца (так же, как порой резкий свет рампы, а не три традиционных звонка, оповещающих о начале спектакля), крестьянин останавливается в пути, рыбак опускает весла и ди-карь прищуривается, сидя у гаснущего костра. Воспоминания — это огромное наслаждение для человека, но память иногда грешит против достоверности, так как немногие захотят вновь пережить тяготы и страдания, которые они тем не менее так любят вспоминать. Память — это сама жизнь, но другого свойства. И когда солнце опускается к безмятежно гладкой поверхности воды — скромная лепта небесного скупца — или когда его диск разрезает горный хребет, как твердый неровный ломоть, человек наблюдает в этой мимолетной фантазмагии брожение неведомых сил, туманов и зарниц, чьи неясные столкновения внутри себя самого и на протяжении всего дня он смутно предчувствовал.

Местом этих мрачных сражений должна была оказаться душа, так как незначительность внешних событий не предвещала никакого атмосферного буйства. Ничто не отличало этот день. К 16 часам — именно в этот момент дня, когда солнце, преодолев половину пути, теряет свою ясность, но светит довольно ярко, когда все смешивается в плотном золотистом свете, который кажется нарочно накопленным, чтобы скрыть будущую угрозу, — «Мендоза» поменяла курс. Каждое колебание воздуха, вызванное легким морским волнением, нагнетало и без того сильную жару, и этот незначительный поворот так мало ощущался, что можно было принять изменение направления за бортовую качку. Никто, впрочем, не обратил на это внимания, поскольку ход в открытом море меньше всего похож на перемещение в пространстве. Вокруг не было ни одного пейзажа, который говорил бы о медленном переходе от начала до конца широт, преодолении изотерм и плювиометрических кривых. Пятьдесят километров пути по суше могут оставить впечатление о меняющейся планете, но 5000 километров океана представляют вид неизменный, по крайней мере, для нетренированного глаза. Выбор маршрута, определение направления, знание территорий, недоступных взору, но существующих за широким горизонтом, — ничто из этого не тревожило пассажиров. Им казалось, что они заперты в ограничен-

ном пространстве на определенный срок не потому, что это было необходимым условием для преодоления нужного расстояния, но скорее платой за привилегию быть перенесенными с одного конца земли на другой, без всяких усилий. Они были слишком расслаблены обильными обедами, которые давно перестали приносить чувственное наслаждение, а превратились в запланированные развлечения (к тому же продолжительные сверх меры), заполняющие пустоту дней.

Что до остальных, не было ничего, что могло бы говорить о каких-то усилиях и с их стороны. Хотя знали — где-то в глубине этой машины находились механизмы и люди, которые приводили их в движение. Но ведь было еще одно развлечение — принимать гостей, пассажиры навещали друг друга, офицеры представляли этих тем или наоборот. Время проводили, прогуливаясь на палубе, где работа одинокого матроса, наносящего несколько мазков краски на конус-ветроуказатель, скупые жесты стюардов в голубых костюмах, развешивающих влажное белье в коридоре кают первого класса, служили единственным доказательством размеренного преодоления миль океана, чей плеск был слабо слышен внизу ржавого корпуса.

В 17:40 на небе с западной стороны возникло сложное сооружение, совершенно горизонтальное снизу, словно дальний край моря был непостижимым образом оторван от целого и приподнят над горизонтом, отделенный от него невидимой хрустальной пластиной. За его вершину цеплялись и тянулись к зениту, под влиянием силы, обратной земному притяжению, неустойчивые нагромождения, вздувшиеся пирамиды, застывшая пена будто лепных облаков, которые напоминали даже позолоченную деревянную скульптуру. Эта мрачная гряда почти полностью заслоняла солнце, пропуская его редкие отблески, и только в высоте над ней словно реяли языки пламени.

Еще выше в небе, в нежных изгибах переплетались ярко-желтые невесомые ленты. К северу вдоль горизонта эта мрачная стена истончалась, переходя в рельефную пену облаков, которую с обратной стороны освещало невидимое солнце, окаймляя четким контуром. Еще дальше к северу рельефы сглаживались и превращались в бледную полосу, растворяющуюся в море.

На юге возникала та же полоса, но возвышавшаяся огромными пенными массивами облаков, которые покоились, как космологические дольмены на каменных опорах.

Если повернуться спиной к солнцу и смотреть в восточном направлении, можно было заметить две напластованные группы облаков, вытянутых в длину и словно разрезанных солнечными лучами позади пузатой и грудастой, но легкой горы в розовых, сиреневых и серебристых отблесках.

В течение этого времени за рифами, загораживающими запад, медленно двигалось солнце. И с каждым его шагом один из лучей прорывал непроницаемую завесу или пролагал себе путь, разрезая преграду. В местах разрывов проступал рисунок, составленный из секторов различной световой интенсивности. Иногда свет втягивался, словно сжимающийся кулак в облачную муфту, которая оставляла видимыми только два напряженных сверкающих пальца. Или пламенный спрут раскрывался в глубине туманного грота, прежде чем снова сжаться.

Существуют две четкие фазы в заходе солнца. Сначала светило выступает в роли скульптора, и только затем (когда небо освещается уже не прямыми, а отраженными лучами) оно превращается в художника. Как только оно уходит за горизонт, свет ослабевает и позволяет проявиться картинам, с каждым мгновением все более сложным. Полный свет — это враг перспективы, но между днем и ночью есть место для творений столь фантастических, сколь скоротечных. С наступлением темноты все сворачивается снова, как ярко раскрашенная японская игрушка.

Ровно в 17:45 наметилась первая фаза. Солнце висело низко, но еще не коснулось горизонта. В момент, когда оно вынырнуло из-под облачного сооружения, оно походило на лопнувший яичный желток, грубо замаравший светом края, за которые еще цеплялось. Разлившийся свет начал быстро отступать. Окрестности потускнели, и в образовавшемся просвете между верхней границей океана и нижней границей облаков можно было увидеть испарения, напоминающие горную цепь, за мгновение до этого такую неразличимую в ярком свете, а теперь отчетливо проявившуюся в сумерках. Эти маленькие плотные черные объекты совершали беспорядочные перемещения на фоне широкого алеющего полотна, которое — давая начало фазе живописи — поднималось медленно от горизонта к небу.

Понемногу монументальные сооружения вечера отступили. Глыба, которая весь день занимала западное небо, казалась сплюсненной, как металлический лист, озаренный позади огнем сначала золотистым, потом ярко-красным и, наконец, вишневым. Этот же огонь плавил, очищал и вовлекал в круговорот извивающиеся облака, которые постепенно рассеивались.

В небе возникло несметное множество воздушных сетей; они казались натянутыми во всех направлениях: горизонтальном, вертикальном, под наклоном и даже по спирали. По мере того как закатывалось солнце, его лучи (подобно смычку, который наклоняется, чтобы коснуться разных струн) заставляли проявляться постепенно всю гамму цветов, каждый из которых обладал своим исключительным свойством. В момент проявления каждая сеть, похожая чистотой, точностью и хрупкой жесткостью на стеклянную нить, начинала постепенно распускаться, как будто ее материя раскалялась в небе, полным огней, и, темнея и теряя индивидуальность, расстилалась пеленой все более тонкой, пока не растворялась, открывая новую только что сплетенную сеть. В конце концов остались только неясные оттенки, перемешанные между собой. Так смешиваются цветные жидкости различной плотности, изначально слоями налитые в сосуд, медленно расплываясь, несмотря на их кажущуюся устойчивость.

С этого момента было уже трудно уследить за отдельными сценами этого спектакля, сменяющимися одна другую с перерывом в несколько минут, а то и секунд, в различных уголках неба. Как только солнечный диск затронул горизонт, с противоположной стороны, на востоке, проявились разом до этого невидимые облака, окрашенные в ярко-сиреневые тона. Словно кто-то стремительно нанес на небесное полотно несколько мазков, дополнил их деталями и оттенками, а затем уверенными и неторопливыми движениями справа налево смыл с холста, оставив небо чистым над туманной грядой. Она окрашивалась в белые и серые тона, тогда как небо розовело.

Со стороны солнца появилась новая, сияющая красным светом волна, пришедшая на смену предыдущей, превратившейся в плотную туманность над линией горизонта. Когда ее яркое свечение стало ослабевать, на сцене возникли, словно ждали этого момента, и стали приобретать объем отблески зенита, которые еще не сыграли своей роли. Их нижняя граница зазолотилась и вспыхнула, а вершина, еще недавно сверкающая, приняла каштановый и фиолетовый оттенки. В то же время стала четко различимой их структура, как под микроскопом: тысячи маленьких волокон поддерживали выпуклые формы, как скелет.

Теперь прямые солнечные лучи полностью исчезли. В небе остались только розовый и желтый цвета: креветка, лосось, лен, солома. Но и это скромное богатство таяло на глазах. Небесный пейзаж возрождался в гамме белых, голубых и зеленых тонов. Однако отдельные уголки горизонта еще

наслаждались последними мгновениями независимой жизни. Слева внезапно обрисовалась легкая завеса, как каприз колдовской смеси зеленых тонов; они постепенно перешли в красные, сначала яркие, затем — все темнее — фиолетовые и, наконец, черные как уголь, похожие на небрежный след угольного карандаша, слегка коснувшегося зернистой бумаги. Позади небо было альпийского желто-зеленого цвета, и облачная гряда оставалась непроницаемой, сохраняя четкие контуры. В западном небе брызнули еще на мгновение маленькие золотые горизонтальные струи, но с северной стороны была уже почти ночь: холмистые облака напоминали белесые выпуклости под известковым небом.

Нет ничего более таинственного, чем совокупность процессов, всегда одинаковых, но каждый раз непредсказуемых, в ходе которых ночь сменяет день. Ее признаки неожиданно появляются в небе нерешительно и боязливо. Никому не дано предугадать ту единственную из всех форму, которую примет на этот раз наступление ночи. С помощью какой-то непостижимой алхимии каждый цвет, распдаясь на оттенки, преобразовывается в другой, и невозможно определить, какие краски надо смешать на палитре, чтобы получить тот же результат. Но ночь смешивает краски бесконечно, начиная свой фантастический спектакль: небо переходит от розового к зеленому, и это впечатление создается оттого, что некоторые облака становятся такими красными, что небо по контрасту кажется зеленым — небо, которое было розовым, но такого бледного оттенка, что он не мог больше соперничать с насыщенностью нового цвета, которого я, однако, не успел заметить. Переход от золотого к красному не сопровождается такой неожиданностью, как переход от розового к зеленому — так исподволь подкрадывается ночь.

Так, играя золотом и пурпуром, ночь подменяет теплые тона бело-серой гаммой. И медленно разворачивает над морем необъятный экран облаков, расплзающийся в небе на почти параллельные лоскутки. Вот так же плоское песчаное побережье, заметное с самолета, летящего на небольшой высоте и склонившегося на крыло, вытягивает свои стрелы в море. Такую иллюзию создавали последние отблески дня, которые, наискосок разрезая эти облачные вершины, придавали им облик рельефа, вызывающий в памяти незыблемые скалы — они тоже, но в другие часы были созданы из мрака и света, — как если бы у небесного светила не осталось сил обрабатывать своими сверкающими резцами порфир и гранит, а только нежные и легкие материи, сохраняя в своем закате тот же стиль.

На этом облачном фоне, который походил на прибрежный пейзаж, по мере того, как небо очищалось, появились пляжи, лагуны, множество островков и песчаных дюн, окруженных неподвижным океаном неба, который вспарывал полотно фьордами и внутренними озерами, постепенно уничтожая облачную пелену. И потому что небо, окаймляющее эти клинья облаков, напоминало океан, и потому что море обычно отражает цвет неба, эта небесная картина восстанавливала в памяти отдаленный пейзаж, где снова и снова заходит солнце. Впрочем, достаточно было опустить глаза на настоящее море, чтобы избавиться от миража: это больше не была ни раскаленная полуденная пластина, ни приветливая волнистая поверхность послеобеденного времени. Последние солнечные лучи, почти горизонтальные, освещали только небольшие волны со стороны, обращенной к ним, тогда как другая была уже совсем темной. Тени на воде обрели рельефность и отчетливость, как отлитые в металле. Вся прозрачность исчезла.

Итак, привычным, но как всегда неуловимым и мгновенным образом день уступил место ночи. Все изменилось. В непрозрачном небе на горизонте, мертвенно-бледные с желтизной в вышине и голубея к зениту, стремительно разбегались последние облака, выпущенные под занавес дня. Теперь это были только тонкие и болезненные тени, как после спектакля, когда рабочие убирают с ярко освещенной сцены реквизит, вдруг чувствуешь его бледность, хрупкость и недолговечность и то, что иллюзия реальности была создана благодаря какому-то обману освещения или перспективы. Вот и сейчас все только что живо изменялось с каждой секундой и вдруг замерло в неподвижности среди стремительно темнеющего неба, и мгла поглотила его.

Третья часть НОВЫЙ СВЕТ

VIII. Пот-о-Нуар

В Дакаре мы простились со Старым Светом и, миная острова Кабо-Верде, достигли зловещего седьмого градуса северной широты. Здесь во время своего третьего путешествия Колумб, двигаясь в правильном направлении, чтобы открыть Бразилию, сменил курс на юго-запад и чудом не пропустил, двумя неделями позже, Тринидад и побережье Венесуэлы.

Мы приближались к Пот-о-Нуар, «Котлу тьмы», которого так страшились старые мореплаватели. Ветра двух полушарий останавливаются по обе стороны этой зоны, и паруса висят неделями без единого дуновения, которое вдохнуло бы в них жизнь. Воздух настолько неподвижен, что, кажется, будто попадаешь в замкнутое пространство. Угрюмые облака, которые не сдвинет с места ни один бриз, подчиненные только силе тяжести, оседают и рассеиваются у самой границы моря. И если бы не их сонная оцепенелость, они подмели бы водную гладь своими свисающими краями. Маслянистая поверхность океана отражает косые лучи невидимого солнца и кажется ярче чернильного неба, меняя порядок обычного отношения световых величин между воздухом и водой. Стоит запрокинуть голову, и там, где море и небо сливаются, вырисовывается бо-

лее правдоподобный морской пейзаж. Вдоль внезапно приблизившегося, тусклого, безжизненного горизонта лениво движутся несколько небольших коротких и расплывчатых колонн, которые зрительно уменьшают расстояние между морем и облаками. Корабль скользит в тревожной спешке, чтобы проскочить, пока морская и небесная поверхности окончательно не сомкнулись, чтобы задушить его. Иногда одна из колонн приближается, контуры ее расплываются, охватывая корабль, и она будто хлещет палубу своими влажными ремешками. Выпустив корабль из своего плена, она вновь обретает форму, пока стихает ее гулкий след.

Жизнь словно покинула море. С устойчивого размеренно покачивающегося носа корабля не было видно ничего, кроме натиска пены на форштевень и черного буруна стаи дельфинов, грациозно обгоняющей белый бег волн. Прыжки афалин уже не прерывали линии горизонта. Казалось, ярко-синее море больше не было населено сиреневыми и розовыми флотилиями наutilusов.

Встретят ли нас по ту сторону экватора чудеса, известные мореплавателям прошлых веков? Преодолевая девственные пространства, они были заняты не столько открытием нового мира, сколько поиском следов старины. Адам и Улисс существовали в реальности, подтверждения этому были найдены. Когда во время первого путешествия Колумб причалил к берегу Антильских островов, он, может быть, думал, что достиг Японии или, более того, открыл Земной Рай. И если бы не четыре минувших столетия, которые смогли уничтожить огромный разрыв, благодаря которому в течение десяти или двадцати тысячелетий Новый Свет оставался в стороне от волнений истории, он продолжал бы существовать в другом измерении. И если Южная Америка больше не была Эдемом перед падением, она дол-

жна была еще благодаря этой тайне дарить золотой век, по крайней мере, тем, у кого были деньги. Ее счастье было близко к тому, чтобы растаять как снег на солнце. Что осталось от нее сегодня? Сжавшаяся до драгоценной лужицы, так что лишь единицы могут отныне там добиться привилегий, она изменилась в своей природе, из вечной становясь исторической и из метафизической — социальной. Человеческий рай, такой, каким его видел Колумб, продолжал существовать, но был предназначен только богатым.

Небо цвета сажи и гнетущая атмосфера Пот-о-Нуара — не просто приметы экваториальной линии. Они представляют ту границу, на которой сталкиваются два мира. Эта мрачная стихия, которая их разделяет, это затишье, в котором оживают злые силы, — все это является таинственной преградой между тем, что образовывало еще вчера две поистине противоположные планеты: ведь даже первые свидетели не могли поверить, будто обе они принадлежат одному человечеству. Материк, едва затронутый человеком, приносил себя в жертву людям, чья алчность была безгранична. Все было вновь поставлено под угрозу этим вторым по счету смертным грехом: Бог, нравственность, законы. Все будет одновременно проверено, учтено и уничтожено на законных основаниях. Подтвердились и библейский Рай, и Золотой век древних, и Источник Молодости, и Атлантида, и Геспериды, и Пасторали, и Острова Блаженных. Но подвергнуты сомнению зрелищем человечества более чистого и счастливого (которое, конечно, в действительности таким не было, однако тайные угрызения совести заставили в это поверить) откровение, спасение, нравы и право. Никогда человечество не переживало более мучительного испытания, и никогда не переживет, если только, за миллионы километров от нас, однажды не обнаружится другой зем-

ной шар, населенный мыслящими существами. Но мы, по крайней мере, знаем, что теоретически эти расстояния преодолимы, тогда как первые мореплаватели боялись встретиться лицом к лицу с небытием.

Чтобы определить абсолютный, всеобъемлющий, непримиримый характер дилемм, пленником которых стало человечество в XVI веке, нужно вспомнить несколько случаев. На эту Эспаньолу (сегодня Гаити и Санто-Доминго), где коренные жители, численность которых достигала ста тысяч в 1492 году, а век спустя не превышала двух сотен, умирали скорее от ужаса и отвращения к европейской цивилизации, чем от оспы и побоев, колонизаторы направляли комиссию за комиссией, чтобы исследовать их природу. Если они на самом деле были людьми, можно ли было их считать потомками десяти колен израилевых? Или монголов, прибывших сюда на слонах? Или шотландцев, приведенных королем Мадоком несколько веков назад? Оставались ли они язычниками по происхождению или древними католиками, крещенными святым Фомой и вновь впадшими в ересь? Не было даже уверенности, что это были люди, а не дьявольские создания или животные. Так полагал и король Фердинанд, который в 1512 году привозил в Западную Индию белых рабов с единственной целью — помешать испанцам сочетаться браком с индейскими женщинами, «далекими от того, чтобы считаться разумными существами». Попытками Лас Касаса отменить подневольный труд колонисты были не столько возмущены, сколько просто удивлены: «И что теперь, — кричали они, — нельзя больше пользоваться выючными животными?»

Из всех этих комиссий самой известной была комиссия монахов ордена Святого Иеронима, поразившая сразу скрупулезностью, которой не отличалась деятельность колонистов с 1517 года, и светом, кото-

рый она пролила на образ мыслей эпохи. Во время настоящего психолого-социологического исследования на основе самых современных правил колонистов подвергли опросу с целью узнать, являлись ли индейцы, по их мнению, «способными жить самостоятельно подобно крестьянам Кастилии». Ответы были сплошь отрицательными: «В крайнем случае, может быть, их потомки. Местные жители так безнравственны, что сомневаться в этом не приходится. Как доказательство: они избегают испанцев, отказываются работать без оплаты, но доходят в своей испорченности до того, что дарят что-нибудь из своего имущества. Не соглашаются оставлять своих товарищей, которым испанцы отрезали уши». И как единодушный вывод: «Лучше индейцам быть рабами, но при этом оставаться людьми, чем быть свободными животными...»

Свидетельство нескольких последующих лет ставит окончательную точку в этом обвинении: «Они питаются человеческой плотью, ходят полностью голыми, едят блох, пауков и сырых червей... У них нет бороды, и если на теле появляются волосы, они торопятся тут же выщипать их» (Ортис перед советом по делам Индий, 1525).

В то же самое время на соседнем острове Пуэрто-Рико, по свидетельству Овьедо, индейцы ловили белых людей и топили их, а потом неделями наблюдали, подвержены ли тела уопленников тлению. Сопоставляя результаты исследований, можно сделать два вывода: белые руководствовались социальными законами, тогда как индейцы природными; и пока первые провозглашали индейцев животными, вторые ограничивались тем, что считали белых богами. При равной степени невежества поведение индейцев все же более достойно людей.

Духовные опыты придают дополнительный пафос моральной тревоге. Все было загадкой для наших путе-

шественников. Картина мира Пьера де Айи рассказывает о только что открытом и в высшей степени счастливом человечестве, состоящем из пигмеев, макробов и даже ацефалов. Пьер Мартир собирает описания чудовищных животных: змей, похожих на крокодилов; животных с телом быка и хоботом слона; рыб с четырьмя конечностями и головой быка, со спиной, украшенной тысячей бородавок и панцирем черепахи; тибуронов, пожирающих людей. А ведь это были всего лишь удавы, тапиры, ламантины или гиппопотамы и акулы (на португальском tubarão). Но самые неразрешимые загадки оставались тайной самих путешественников. Объясняя внезапную перемену курса, из-за которой он миновал Бразилию, Колумб не упомянул в своих официальных отчетах о странных обстоятельствах, с тех пор ни разу не повторявшихся в этой вечно влажной зоне: жгучий зной проник в трюмы, взорвались бочки с водой и вином, вспыхнуло зерно, и в течение недели запеклись свиное сало и вяленое мясо. Солнце пылало так, что экипаж решил, что сгорит заживо. Счастливейший век, где все было еще возможно, как, может быть, сегодня благодаря летающим тарелкам!

Не в этих ли краях, где мы плывем теперь, Колумб повстречал сирен? На самом деле он их увидел в конце первого путешествия, в Карибском море, а не перемещающимися вдоль амазонской дельты. «Три сирены, — рассказывает он, — вздымали тела над поверхностью океана, и хотя не были так прекрасны, как изображались на живописных полотнах, их круглые лица имели явное сходство с человеческими». У ламантинов круглая голова, на груди соски, и когда самки кормят грудью своих малышей, прижимают их лапами. Это сравнение не кажется удивительным для того времени, когда были готовы описать хлопчатник (и даже изобразить его) как дерево с овцами: дерево, на

котором вместо плодов висят целые овцы, подвешенные за спину, и достаточно состригать с них шерсть.

Подобным же образом в четвертой книге о Пантегрюэле Рабле, основываясь, вероятно, на отчетах мореплавателей, прибывших из Америки, приводит первую пародию на то, что этнологи называют сегодня системой родства. Он в силу собственного воображения вышивает узоры на жидкой канве, поскольку маловразумительной кажется система родства, где старик может назвать внучку «мой отец». Во всех этих случаях мышлению XVI века недоставало элемента более существенного, чем знание: способности к научному анализу. Люди того времени еще не были способны воспринимать многообразие мира. И сегодня профан в области изящных искусств, знакомый лишь с отдельными внешними признаками итальянской живописи или негритянской скульптуры и не постигший всю многозначительную гармонию их форм, оказывается неспособным отличить подделку от подлинника Боттичелли или третьесортную поделку от статуэтки пахуин. Сирены и дерево с овцами — это нечто иное, и большее, чем просто объективные заблуждения: с точки зрения духовной, это скорее изыяны вкуса; недостаток интеллекта; несмотря на талант и утонченность, которые они проявляют в других сферах, эти люди абсолютно беспомощны в области научного познания. Это вовсе не порицание, скорее чувство глубокого почтения перед результатами, полученными вопреки этим недостаткам.

Тому, кто сегодня хочет написать свою «Молитву на акрополе», стоит выбрать палубу корабля, следующего к Америкам, а не акрополь Афины. Отныне мы откажем тебе в этом, анемичная богиня нашей древней ограниченной цивилизации! Вместе с теми героями — мореплавателями, исследователями и покорителями Нового Света, — которые пережили единственное

(пока не случилось путешествия на Луну) полноценное приключение, доступное человечеству, я хотел бы причислить к уцелевшему арьергарду, который так жестоко поплатился за риск распахнуть двери: индейцев, чей пример вкупе с идеями Монтеня, Руссо, Вольтера, Дидро обогатил знания, полученные в школе. Гуроны, ирокезы, каробы, тупи — вам я воздаю должное!

Первые отсветы, замеченные Колумбом и принятые им за берег, были всего лишь морскими светлячками, которые заняты тем, что плодятся между заходом и восходом луны. До земли было еще далеко. Это ее очертания я сейчас угадываю, бессонной ночью стоя на палубе и высматривая Америку.

Вот он, Новый Свет. Его приближение чувствуется со вчерашнего дня, хотя разглядеть его пока не удастся. Берег еще слишком далек, несмотря на то, что корабль постепенно поворачивает к югу, чтобы взять направление, которое, начиная с Кабу-Сан-Агостину-ду-Рио, останется параллельным линии побережья. В течение двух, а может, и трех дней мы будем идти к Америке этим курсом. Большие морские птицы предвещают скорый конец путешествия: крикливые фаэтоны, тираны буревестники, которые на лету заставляют глупышей ронять их добычу. Эти птицы не отваживаются удаляться от суши. Колумб знал об этом по собственному опыту, и потому, еще посреди океана, приветствовал их появление как свою победу. Что касается летучих рыб, отталкивающихся от воды ударом хвоста и парящих на раскрытых плавниках в брызгах серебряных искр над синей чашей моря, они за последние несколько дней встречались все реже. Новый Свет встречает мореплавателя запахами, совершенно не похожими на тот, что представлялся ему в Париже, рожденный в воображении созвучием, и которые трудно описать тому, кто их не вдыхал.

Вольный морской ветер, сопровождавший нас предыдущие несколько недель, наталкивается на невидимую преграду. Он уступает место запахам другой природы, не похожим ни на один знакомый аромат. Лесной бриз, благоухающий оранжереей — самая суть растительного мира, особенная свежесть, настолько высокой степени концентрации, что вызывает обонятельное опьянение, последняя нота мощного аккорда, раздробившая и смешавшая одновременно последовательные ноты ароматов, в разной степени сохранившихся вкус плода. Немногие могут понять удовольствие, которое испытываешь, зарываясь носом в самый центр только что вскрытого стручка экзотического перца, после того как в какой-нибудь захолустной бразильской пивной вдохнул медово-сладкий запах fumo de rôlo — ферментированных листьев табака, скатанных в многометровые жгуты. В сочетании этих ароматов вновь обретаешь Америку, которая в течение тысячелетий была единственной хранительницей тайны.

В 4 часа утра следующего дня Америка возникает на горизонте. Видимый облик Нового Света оказывается достойным предварившего его благоухания. В течение двух дней и двух ночей открывается горная цепь, огромная не своей высотой, но бесконечностью хребтов, похожих друг на друга и соединенных так, что невозможно различить отдельные фрагменты. На многие сотни метров эти горы возвышаются над волнами стеной из гладкого камня, нависают вызывающими и безумными формами, какие можно видеть иногда в замках из песка, подтачиваемых волной, но трудно даже представить, что где-то на нашей планете они могли бы существовать в таких огромных масштабах.

Это впечатление необъятности полностью принадлежит Америке. Оно преследует вас повсеместно, в городах и в сельской местности. Я ощущал его перед

этим берегом и на плоскогорьях Центральной Бразилии, в боливийских Андах и Скалистых горах Колорадо, в пригородах Рио, Чикаго и на улицах Нью-Йорка. Повсюду испытываешь тот же шок: эти виды как виды, эти улицы как улицы, горы как горы, реки как реки, но откуда возникает чувство потерянности в новой непривычной обстановке? Всего лишь оттого, что соотношение человеческого роста и величины окружающих объектов увеличилось настолько, что стало совершенно несоразмерным. Позднее, когда я уже освоился в Америке, у меня выработалась бессознательная способность восстанавливать нормальное соотношение величин; это происходило незаметно, словно в момент приземления самолета в голове щелкал воображаемый переключатель. Но изначальная несоизмеримость двух миров проникает в сознание и искажает наши взгляды. Те, кто считают Нью-Йорк отвратительным, являются всего лишь жертвами обманчивого восприятия. Еще не научившись изменять регистр, они упорно судят Нью-Йорк как город и критикуют авеню, парки, памятники. Объективно Нью-Йорк — это город, но зрелище, которое он предлагает восприятию европейца, другого масштаба. Мы привыкли к меркам наших собственных пейзажей, в то время как американские пейзажи вовлекают нас в более пространную систему, для которой мы не имеем эквивалента. Красота Нью-Йорка заключена не в его городской сути, а в его превращении, едва мы перестаем упорствовать, прямо у нас на глазах в искусственный пейзаж, где принципы градостроительства больше не действуют: мягко освещенные скалы зданий, величественные бездны у подножия небоскребов и тенистые лощины, усеянные разноцветными автомобилями, как цветами.

После этого мне трудно говорить о Рио-де-Жанейро, который отталкивает меня, несмотря на всю свою

столько раз воспетую красоту. Как это объяснить? Мне кажется, что пейзаж Рио не соответствует его размаху. Сахарная Голова, Корковадо, все эти расхваленные достопримечательности кажутся путешественнику, который прибывает в бухту, обломками зубов, затерявшись в четырех углах беззубого рта. Почти постоянно окутанные мутным туманом тропиков, эти неровности местности не могут заполнить слишком широкий горизонт. Чтобы охватить все взглядом, придется подойти к заливу с обратной стороны и смотреть с высоты. Со стороны моря, если использовать аналогию, обратную с Нью-Йорком, здесь природа принимает облик верфи.

Размеры залива Рио трудно правильно оценить с помощью зрительных ориентиров: неторопливый постепенный ход судна, его маневры в стремлении уклониться от островов, прохлада и запахи, доносящиеся с небольших холмов, поросших лесом, устанавливают заранее нечто вроде физического контакта с цветами и скалами, которые еще не существуют как объекты, но предопределяют для путешественника облик континента. На память приходят слова Колумба: «Деревья были такие высокие, что, казалось, касаются неба; и если я правильно понял, они никогда не теряют листьев: я видел их такими же зелеными и свежими в ноябре, какими они бывают в мае в Испании; некоторые даже были в цвету, а на других созревали плоды... Куда бы я ни поворачивался, везде пел соловей в сопровождении птиц всевозможных пород». Такова Америка — континент, который заставляет признать себя. Он сотворен из всех этих образов, которые оживляют в сумерках туманный горизонт залива. Но для впервые прибывшего это движение, эти контуры, эти огни еще ничего не означают — ни провинций, ни деревушек и городов; за ними трудно представить леса,

прерии, долины и пейзажи; они ничего не говорят о поступках и труде отдельных людей, обособленных друг от друга и замкнутых в тесный мирок собственной семьи и дел. Но все это объединено общим существованием. То, что меня окружает со всех сторон и подавляет, это не неисчерпаемое разнообразие вещей и существ, а единственная и потрясающая реальность — Новый Свет.

IX. Гуанабара

Жало залива проникает в самое сердце Рио. На берег сходят прямо в центре, как будто вторую половину города, Новый Ис, уже поглотили волны. В каком-то смысле так и есть, ведь изначально город, а точнее форт, располагался на скалистом островке, который носит имя его основателя Вильганьона и вдоль которого сейчас скользит наше судно. Я ступаю по авениде Рио-Бранко, где некогда возвышались деревни тупинамба, и в моем кармане — труд Жана де Лери, настольная книга этнолога.

Триста семьдесят восемь лет назад, почти день в день, Вильганьон прибыл сюда с десятью другими жевцами, протестантами, посланными по его просьбе Кальвином, его бывшим школьным товарищем. Не прошло и года после его обоснования в заливе Гуанабара, как Вильганьон переменял веру с католической на протестантскую. Этот странный человек, перепробовавший все профессии и интересовавшийся всеми проблемами, воевал с турками, арабами, итальянцами, шотландцами (это он похитил Марию Стюарт, чтобы состоялся ее брак с Франциском II) и англичанами. Его видели на Мальте, в Алжире и битве при Черезоле. И вот почти в конце его полной приключений карьеры,